
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: РОМАН, ПОВЕСТЬ

Виталий Ковалев
Олеся Янгол
(г. Юрмала, Латвия)



НОЧИ ДИАНЫ*
(из книги «Побережье наших грез»)

Наши постоянные авторы.

История вторая ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ С КАПЕЛЬКОЙ ДОЖДЯ

МЫС

4. Пороги

Утром Яна открыла глаза и сразу же увидела за окном голубое небо и высокую стену неподвижных елей. Дианы в номере не было. Яна прислушалась, но ни из душевой, ни из коридора не доносилось никаких звуков. В номере была такая тишина, что Яна пощелкала пальцами, чтобы убедиться, что со слухом у нее все в порядке. На мгновение она представила себе, что осталась одна, без денег, без вещей, непонятно в каком отеле... «И что же ей делать? Нет, конечно же, непоседливая Дианка просто вышла куда-то, чтобы прогуляться. Ну и мысли лезут мне в голову со сна. Диана меня никогда не бросит. Уж об этом я могу не беспокоиться, подумала она. Ну, раз-два, встала...».

Когда она, умывшись, сидела на кровати и причесывалась, дверь номера открылась, и послышался голос Дианы.

— О, отлично, ты уже встала! Идем завтракать. Ну и заспались мы после вчерашних приключений.

— Да я и сейчас еще сонная. Мне такое приснилось!

— Что? — спросила Диана, прикрывая балконную дверь.

— Мне приснилось, что меня взяли в плен.

— Кто?

— Польские фашисты.

— Боже, что ей снится! И что дальше?

— Нацепили на меня какой-то прибор и сказали, мол, иди куда хочешь, но ты все время должна докладывать о своем местоположении. И вот пришла я к тебе домой,

* Главы из романа.

вхожу во двор, ты стоишь с миской и вишни собираешь. Посмотрела на меня и говоришь — ну что, будешь докладывать? А я отвечаю — а что же мне делать? Меня взяли в плен... А сама понимаю, что местоположение им нужно для того, чтобы нанести точечные удары...

— И в этом месте, я, наверное, взяла твой приборчик и выбросила его на помойку?

— Нет. В этом месте я проснулась.

— Интересный сон. Запомню. Может, пригодится. Эх, Янка! Пошли, там внизу классный шведский стол. Столько вкуснятины! М-м-м!

— Ну и сорим же мы деньгами!

— Вот она — вся людская суть! Сорить деньгами люди боятся, а временем сорят во всю. А ведь сами же говорят, что время — деньги...

— А где ты была? — спросила Яна, откладывая в сторону гребень и поднимаясь с кровати.

— О, пока ты спала, я столько уже видела!.. Осторожно, дверь я сама закрою... Тут такие нанотехнологии! Открывается дверь вот этой карточкой... Так вот, проснулась я, вижу, ты спишь, я и решила разведать тут все! Поиграла с одним мужиком внизу в пинг—понг, побродила по отелю, познакомилась со скандинавами. Очень прикольные оказались. Хотя я их не особенно поняла, но, как я, в конце концов, догадалась, они тут в номере порно снимают. Я им говорю, — по!.. по!.. мол, итс импосибал, а они мне в ответ — посибал, посибал... Их там пять мужиков! Представляешь!.. Я в такой мизансцене!

— Дианка, прекрати, — прикрыв рот, засмеялась Яна.

— Вот, так мы проходим мимо своего счастья... А ведь был шанс стать звездой!.. Ладно... Потом зашла в ресторан и увидела метрдотеля. Представь, он просто вылитый Уильям Фолкнер! Сейчас ты сама его увидишь. Сходство невероятное! Мне даже захотелось с ним сфотографироваться под ручку. Представляешь, снимочек — я и Фолкнер! Это был бы снимок всей моей жизни!.. Вот только беда — Фолкнер умер в 1962 году. Эх, жаль!..

— Почему бы тебе не представить это как перемещение во времени, — улыбнулась Яна.

— Ха!.. Почему бы мне, действительно, не переместиться во времени!

— Жаль, что никто не поверит.

— Со мной чего только не было!.. Ты мне потом напомни, я тебе расскажу... Что же еще... А!.. Звонили Ник с Женькой, я сказала, что ты еще спишь. Клев у них невероятный! Представляешь, Женька поймал с лодки сома!.. Потом он тебе сам расскажет. Хм!.. Я никогда еще не готовила сома. Надо будет посмотреть в рецептах.

— А когда они возвращаются? Нам надо успеть что-то приготовить к их приезду.

— В том-то и дело, Ник сказал, что они хотят остаться еще на одну ночь. Завтра возвращаются. Спрашивали, не очень ли мы расстроимся. Я им сказала — ребята, полный вперед. Мы с Янкой не скучаем. Женька, конечно, о тебе очень беспокоится, но я заверила его, что не отхожу от тебя ни на шаг и держу все время за руку. А спали, так, вообще, в одной кровати.

— Эх, Дианка, ты — человек праздник.

— Который, заметь, всегда с тобой...

Лифт мягко остановился, хромированные двери открылись, и Яна увидела сверкающий зал ресторана с огромными шведскими столами посередине.

— А!.. — кивнула на столы головой Дианка. — Не завтрак, а карнавал в Рио-де-Жанейро.

Но Яне эти столы больше напомнили огромные картины в стиле Джексона Поллока. Чего здесь только не было!.. Сырные, колбасные и овощные нарезки, бутербро-

ды канапе, от которых рябило в глазах! Омлет с зеленью, запеканка с изюмом, паровые куриные котлеты и франкфуртские колбаски, источавшие такой аромат, что у Янки закружилась голова. Как же можно из этого что-то выбрать? Если бы ей показали такое в интернате, она бы точно упала в обморок.

Яна повернулась к другому столу со всевозможными выпечками и блинами, джемами и медом, кремами и взбитыми сливками...

— Налетаем,— подошла к ней Дианка с подносами.— Впереди большой день. Надо подкрепиться.

— Ты что-то еще задумала. Вижу это по твоим глазам,— повернулась к ней Яна.— Мне кажется, нам стоило бы уже возвращаться домой. Давай, выкладывай, что у тебя на уме.

— Янка, не буду скрывать, есть одна потрясающая мысль. Но я ее еще обдумываю.

— Может, ты и со мной поделишься?

— Именно это я и собиралась сделать за завтраком. Давай, Янка, набирай все, что тебе нравится. А что будем пить? Кофе, какао, чай с лимоном, соки? О, Боже!.. Я беру эти эклеры...

Они выбрали столик у самого окна. За большим стеклом, в нескольких метрах от них, еловый лес уходил вниз по крутому склону, отчего казалось, что они на высокой горе. А что же там внизу? — думала Яна. Хорошо бы спуститься и посмотреть, но куда уж мне... Тут, до номера бы добраться. А ведь еще какой путь назад!.. Эх, Дианка! Она совсем не понимает мое состояние и, главное, мои возможности. И с нервами это точно как-то связано. Вот, подумала сейчас об обратном пути и тут же почувствовала, как ослабли ноги. Дианка не может понять, потому что не чувствует этого.

— Ну, как тебе тут? — спросила ее через стол Диана.— Ты ешь, набирайся сил. Может, еще что-нибудь взять?

— Да ты что! У нас весь стол заставлен... Но, давай, рассказывай, что ты придумала.

— Вон! — показала Диана в глубину зала.— Вон он!..

— Кто? — не поняла Яна.

— Фолкнер. Посмотри!..

— Вроде, похож.

— Сходство невероятное! Эх, телефон в номере остался. Как же это я так!.. Вот бы наши удивились.

— Да, похож, Прямо как на снимке в твоём собрании сочинений,— сказала Яна, пробуя куриную котлетку.— Ой, как вкусно!

— Удивительное это дело — гениальность. Два человека с одной и той же внешностью, но один нобелевский лауреат, а второй...

— Но, может, этот метрдотель очень даже хороший человек. И для кого-то он дороже всех нобелевских лауреатов.

— Это так... У каждого свой путь. И потом ты знаешь, я заметила, что очень часто гении это люди, у которых вся жизненная энергия, весь их потенциал сосредоточены в какой-то одной точке. Я, конечно, не имею в виду людей эпохи Возрождения. Стоит такому человеку выйти из круга своих интересов, стоит ему столкнуться с другой областью жизни, и он оказывается совершенно беспомощным. Я не говорю о Фолкнере. О нем я мало что знаю. Но все эти гениальные физики с взъерошенными волосами, математики, не видящие ничего, кроме доски и мела, поэты, чувствующие только свой пульс, ритм, дыхание и полностью сосредоточенные на своих чувствах... Ты не представляешь, сколько среди этих людей откровенных идиотов.

— Это все интересно, но ты говоришь не о том, о чем я тебя спросила. Диана, что ты задумала? — вытирая губы салфеткой, спросила Яна.

— Я ничего специально не задумывала. Я собиралась сегодня спокойно погулять, показать тебе реку, она, кстати, там, внизу, за деревьями. И после этого думала возвращаться домой... И тут... Янка, это судьба!..

— У меня что-то уже аппетит пропадать начал. Говори скорее...

— Янка, тебя ждет такое, что ты не забудешь за всю свою жизнь!

— Рассказывай, что меня ждет.

— Короче... Мы не поедem домой...

Дианка эффектно замолчала, явно ожидая вопроса от Яны, но та тоже выдержала не менее эффектную паузу и безразлично заметила:

— А я уж думала, что что-то серьезное.

Диана улыбнулась.

— Мы не поедem домой, а поплывем.

— Я не умею плавать.

— Сейчас все расскажу. Помнишь... бери лимончик... я рассказывала тебе про человека, с которым играла в пинг-понг? Его зовут Михаил. Он здесь с сыном Денисом. Вообще, их тут целая компания и они собирались плыть по реке на катамаранах...

— Но при чем здесь... мы?

— Его друзья, которые с ними должны были плыть, по какой-то причине срочно возвращаются в Ригу. Я рассказала ему, что мы с тобой путешествуем, и он предложил нам плыть с ними. Он обещал сыну это путешествие и не хочет менять планы. Понимаешь, Янка, мы будем плыть на катамаране! И, между прочим, в сторону дома. Фактически, мы будем возвращаться домой.

— На катамаране?

— Да. По красивейшей реке!

Яна задумалась, глядя в окно, взяла стакан сока и чуть отпила.

— Что ты на это скажешь?.. Это же потрясающе! Когда еще нам представится такая возможность! Я все продумала. Плыдем весь день, ночуем у реки, и завтра нас высаживают в местечке, где шоссе подходит к реке. А Женька с Ником приедут за нами на машине. Перед этим заедут сюда и заберут коляску. Ну? Все продумано. Что скажешь?

— Знаешь, Дианка, есть все признаки того, что ты тоже гений.

— Ой, Янка,— захохотала Диана.— Мне нравится, как ты шутишь.

— Но, я не думаю, что мне доставит удовольствие плыть на катамаране. Я даже не совсем представляю, что это такое.

— У них все очень серьезно. У тебя будет спасательный жилет. И даже специальная каска.

— Зачем каска? Там что-то будет падать сверху?

— Там будут пороги.

— Понимаю. Это чтобы я не ударились головой, когда полечу в воду. Ребята, вы такие заботливые!

— Никто никуда не полетит. Я тебе говорю, там все серьезно. Экипировка, как полагается. Янка, если мы не воспользуемся этой возможностью, то у нас никогда в жизни не будет такого приключения. Мы упустим свой шанс, как я сегодня с теми скандинавами...

Яна вздохнула и посмотрела на Диану. Прямо за ней — окно, а за ним, словно в зачарованном полусне, замерли вековые ели с раскинутыми в стороны тяжелыми ветвями. Яна смотрела на стволы, на ветви, похожие на хвосты хищных зверей, и вдруг поняла главное об этом лесе и, как всегда, все самое главное, оказалось очень простым. Главное заключалось в том, что этот лес — настоящий!.. Абсолютно все — деревья, лесные звуки и воздух, насыщенный ароматом смолы и хвои, все это не

фантазии и грезы. Нет, лес стоит перед ней, приближается к ней, притягивает к себе, и нет никаких сил противиться приближению чего-то более реального, чем она сама. Да, она себя ощущала менее реальной, чем этот лес. Диана как-то сказала, что человек — это то, о чем он думает. И все? Неужели это и есть весь человек? Нет, здесь она ошибается. Человек — это то, что он чувствует.

В какой-то момент ей было страшно, уж очень все, что с ней происходит, не похоже на ее прежнюю жизнь. Но теперь, когда она смотрела на поникшие ветви, страх пропал. Она подчинилась неизбежному. Как только это произошло, в ней тут же ожило любопытство — что же будет дальше?

Диана с легкой улыбкой поглядывала на нее, побалтывая на доньшке стакана остатками сока.

— А как мы попадем на реку? Она же далеко внизу.

Диана перестала улыбаться и спокойно сказала.

— Михаил подвезет нас на машине. К реке ведет дорога. Он дал мне номер своего телефона. Так что нам надо решать. Они сейчас на реке собирают катамаран, готовят... Плывет он и его сын. Ну, и мы с тобой. Его жена тоже встретит с машиной, но дальше того места, где он высадит нас. Нам надо ответить, плывем мы или нет.

— Знаешь, Диана, Жене очень не понравится эта затея. Ты же знаешь, у него есть свои воспоминания из прошлого. Думаешь, он забыл Кристину? Ему это очень не понравится.

— Я поговорю с ним. Мы не будем врать. Впрочем, их ничто не удивит. Зная меня, их бы удивило, если бы мы тихо и спокойно вернулись домой.

— Попробуй поговорить,— согласилась Яна.

Дианка вскочила, и ничего не объясняя, выбежала из зала. Вернулась минут через пять с телефоном в руке.

— Я звоню.

Она набрала номер.

— Михаил,— сказала она в трубку,— мы плывем с вами. Может, нужно купить что-нибудь из продуктов?.. Ну, грести, это само собой. Это я вам устрою сколько угодно... Хорошо, тогда через час мы будем внизу.

Диана отбила звонок, губы ее улыбаются, на щеках обозначились забавные ямочки. Она не может сдержать радости. Сейчас она похожа на те снимки, что присылала Яне в интернат. Глядя на нее, Яна сама еле сдерживает улыбку, до того от Дианки веет детским довольством от предвкушения нового приключения.

— А ты умеешь грести? — спросила ее Яна, вставая.

— Умею. Но только листья и снег. Грести веслом я быстро научусь... Давай, будем собираться. Нам много времени для этого не надо.

— А коляска?

— Договорюсь — и они ее до завтра подержат... Ну, Янка,— Диана взяла ее за руку,— ты сама увидишь, как это будет здорово!..

Яна сидит на берегу, покусывая травинку, и раздумывает — неужели на этой металлической конструкции, между двумя бананообразными баллонами, я сейчас поплыву?.. Всюду на берегу суета — люди, сумки, рюкзаки, собранные катамараны лежат на песке у воды. Время от времени отплывают новые группы. Сопровождаемые напутствиями и аплодисментами, они проплывают мимо тех, кто остался на берегу, набирают скорость, так как течение довольно быстрое, и скрываются за поворотом реки.

Скаты обеих берегов поросли высокими елями, и поворот реки, из-за которого бьют лучи солнца, кажется Яне вратами во что-то сказочное. Она не была еще в та-

ких лесах и не плавала по таким рекам. Плеск воды, слепящее глаза солнце, голоса людей вокруг нее, от всего этого кружится голова.

Михаил, крепкий, коренастый мужчина лет тридцати пяти, быстро довел их на машине; часть спуска, к самой реке, пронес Яну на руках. Катамаран собран, все готово к отплытию. Его сын Денис сидит неподалеку от Яны, на покато травянистом берегу. Жена Михаила латышка, и Денис говорит по-русски очень забавно.

— Мищя-я-я! Мищя-я-я! — зовет он отца из катамарана. — Пора-а-а...

— Теперь видно, кто ему сказки на ночь читал, — усмехается Диана. — Похоже, что мама.

— Особо ему сказки и не читал. Все больше жена. Приходится много работать. Бывает, что месяцами меня дома нет. Наконец, вот, выбрались с сыном.

— Вы моряк? — поинтересовалась Диана.

— Грузовые перевозки.

— Если у меня когда-нибудь будет ребенок, — мечтательно сказала Диана, — он без сказки засыпать не будет.

— А мой, — усмехнулся Михаил, — не засыпал без ремня... Шучу...

Он засмеялся, посверкивая карими глазами.

— Ми-и-ища-а-а! — снова донеслось от катамарана.

Денис машет руками. Ему лет четырнадцать, но весь в отца — крепкий парень.

— Ну, девочки, — поднялся Михаил, — условие такое — на реке слушаться меня. На берегу — как хотите, а на реке все должно быть четко. Договорились?

Как только Яна, не без помощи Дианы, устроилась в катамаране, ей снова стало страшно. Вода несется мимо нее, вздувается буграми. Ей кажется, что она вот—вот подхватит лежащий носом в воде катамаран, и их, кружа, понесет вперед без Михаила. Но тот быстро вернулся, проверил крепления спасательного жилета на Яне, и устроил ее место поудобнее. Это оказалось кстати, так как какая-то железка упиралась в бок.

— Можешь держаться за эти поручни, — показал ей Миша. — Ногами вот тут упрись. На поворотах держись. Мобильные телефоны давайте сюда, положим в водонепроницаемый пакет. Потом не забудьте их... Ну, вроде все.

— Янка, как ты там? — обернулась к ней Диана.

В руках у нее весло. Куртку она скинула, сидит в майке, и только сейчас Яна заметила, какие крепкие у нее руки. Денис сидит впереди, они будут грести с левого борта, а Михаил с правого. Яна сидит в самом конце катамарана. Она взялась руками за поручни, уперлась ногами, чувствует слабость в коленях и старается изо всех сил напрячь мышцы. Закрыла глаза, а когда открыла, увидела, что берег стремительно уходит назад. Шум воды стал громче, пенные струи заливают резиновые гондолы по обеим сторонам катамарана.

Яна смотрит на Диану, быстро орудующую веслом, на надвигающийся на них еловый мыс, за которым виден крутой поворот реки. Центробежная сила, при повороте, выносит их к противоположному берегу, но все быстро гребут, разворачивая катамаран, и вот они за поворотом...

Река широко разлилась, берега раздвинулись. Высокие стены елового леса высятся над ними с двух сторон. В этой лесной чаще эхом разносится птичье пение.

Диана оглянулась. На ее лице довольное выражение, которое Яна заметила в ресторане. Диана быстро поняла, что от нее требуется. Вперед их несет река, а задача гребцов — направлять движение катамарана между препятствиями. Михаил, на ходу, быстро объясняет Диане, когда нужно грести, а когда, наоборот, притормаживать, чтобы направить катамаран в нужном направлении.

— Завтра будут пороги, — говорит он Диане. — Не очень большие. Но надо будет проходить между камнями. Сегодня можем потренироваться. Видишь вон те две коряги? — показывает рукой вперед. — Направляем катамаран между ними.

Яна, из-за спины Дианы, пробует разглядеть коряги, но не видит их среди пенистой ряби.

— Гребем сильнее, надо чуть разогнаться,— командует Михаил.— Так, отлично... А теперь, чуть притормаживай... Отлично!..

И катамаран быстро проносится между стволами двух деревьев, застрявших ветвями в подводных камнях.

— Отлично,— оглядывается на Диану Михаил.

Яне приятно, что Дианка так хорошо справляется. Ее крепкие руки работают изо всех сил. Какая она сильная! — думает Яна и следом за этим, непонятно почему, подумала — а ведь, если Дианка обнимет, то не вырвешься!.. И улыбнулась чему-то еще, что подумала после этого.

Поверхность воды стала гладкой и движение неспешным.

— Здесь глубина уже большая,— сказала Михаил Денису.— Если рыбу наловим, можно будет вечером уху сварить.

— А что тут за рыба? — посмотрел на него Денис.

— Посмотрим, что здесь ловится... Как там наша Яна? Все нормально?

— Все хорошо. Мне очень нравится... Диана, ты классно гребешь!

— Не хвали ее, а то зазнается и расслабится,— смеется Михаил.— Мы еще потренируемся.

— Какая здесь красота! — произнесла Диана, перестав грести.

Чувствовалось, что с непривычки она все же устала. Сидящий впереди нее Денис это тоже почувствовал.

— Ты знаешь,— сказал он, чуть полуобернувшись к Диане,— когда я в первый раз поплыл с папой, то через полчаса уже устал. А потом усталость прошла. Ты как заведенный становишься. Мы после этого целых два дня плыли...

— Да-да, так и было. Так что, Диана, усталость скоро пройдет. Ты, кстати, можешь отдохнуть. Тут сейчас ровное течение. Мы с Денисом и вдвоем управимся.

Диана пробралась назад к Яне.

— Фу-ф!.. Как ты тут? — устроилась она, полулежа, под бочком у Яны.

— Мне очень нравится! — сказала Яна, обнимая ее за плечо.— Наверное, жилья тут никакого нет. Как думаешь?

— Выглядит диковато.

Лес по бокам становился все более замшелым, свет едва пробивался сквозь ветви, и сумрак между стволами становился все более густым.

— Такой лес, наверное, и называется — дремучим,— произнесла Яна.

— Здорово было бы побродить там. Жаль, что грибы еще рано собирать... Слушай, Диана, может, стоит еще раз нашим позвонить? А то будут волноваться.

— Не думаю, что здесь есть зона? Давай попробую.

Диана достала телефон из пакета и набрала номер. Отбила и набрала снова.

— Нет зоны,— сказала она.— Представляешь, в какие дебри мы заплыли!

— Что сейчас чувствует Женя...— покачала головой Яна.

— Не переживай. Как только будет связь, позвоним.

— До завтра вряд ли это получится,— заметил Михаил не оборачиваясь. Здесь вышек нет. Вон там,— он показал на берега реки — никто и не живет.

— Папа, а помнишь, мы тут видели лосей и кабанов? — вспомнил Денис, тоже доставая из сумки телефон.

— Денис, мы по этой реке еще не плавали. То было в другом месте. Но звери тут есть... Вполне возможно, и кабаны здесь водятся.

— А знаете, что было со мной на одной реке,— повернулся Денис к Яне с Дианой.— Такая же была река... Очень похожая на эту. Мы заплыли в одну протоку и

выбрались на берег. Папа стал рыбу ловить, а я пошел в лес и увидел в лесу огромную яму, полную воды. Я сбегал за удочкой и забросил ее в яму. И вдруг у меня поплавок ушел под воду!..

Денис оглядел всех в ожидании восторга и удивления.

— Кто же это там был? — спросила Диана.

— Не знаю. Папа пришел и сказал, что надо плыть дальше. Папа, почему ты не дал мне поймать эту штуку в яме?

— Денис, надо было место для ночлега искать.

— Я так и не узнал, что это было.

— Это и хорошо,— сказал Михаил.— Зато ты запомнил это. Тайна, вот самое главное. В жизни должна быть тайна.

— Лучше бы я узнал, чем тайна какая-то.

— Ну, поймал бы ты лягушку или тритона. И что? Разве это было бы интересно?

— Мне было бы интересно.

— А Михаил прав,— шепнула Диана Яне на ухо.— Потом расскажу тебе что-то.

— Расскажи сейчас.

— Нет, когда вдвоем будем... Янка, смотри! — Диана показала в сторону берега.

Яна посмотрела в том направлении, куда показывала Диана. То, что она увидела, поразило.

Берег в этом месте был такой крутой, что оплетенная корнями почва казалась срезанной у самой воды. Между стволами елей, ярко озаренными солнцем, Яна увидела маленькую лавочку, грубо сколоченную из посеревших от времени, потрескавшихся досок.

Катамаран неспешно проплыл мимо нее. Никто не греб, все смотрели на лавочку под ветвями деревьев в полном молчании.

— Вот тебе еще одна тайна,— кивнул головой на лавочку Михаил.

— Лавка ведьмы,— прошептал Денис.— Она сидит на ней по ночам.

— А может, туристы здесь останавливаются,— предположила Диана.

Михаил покачал головой.

— Лодку на берег не затащить, для палатки места нет. И костер разводить в зарослях опасно. Нет, плохое место для стоянки.

Они проводили лавочку глазами, пока она не скрылась за новым поворотом реки. Тогда Яна, словно вернулась к реальности, снова стала слышать плеск воды и откинулась спиной на мягкий рюкзак, видимо, с одеждой.

Диана села на свое место и взяла весло.

— Потренируемся? — оглянулся на нее Михаил.

— Давайте.

— Видишь, камни впереди. Слева и справа... Между ними пройдем. Денис, видишь их?..

Яна смотрит на проплывающие мимо нее с двух сторон вершины елей, устремленные в голубую высь с замершими в ее глубине белыми облаками. Катамаран, набирая скорость, слегка покачивается на воде, с легким плеском скользит по ней. Яна закрыла глаза. Кажется, что вода журчит у самого уха. Несколько капель брызнули на ее щеку и волосы у виска.

Она слышит голос Дианы, смех Дениса, и чувствует легкое покачивание, тепло солнечного света.

— Яна, смотри, сейчас будем проходить между камнями,— кричит ей Диана.

Яна приподнимается, голова чуть кружится от солнечного припека. Катамаран быстро летит среди всплесков воды, перекатывающейся через гладкие камни. Опустив руку в воду, Яна коснулась гладкого, скользкого камня.

Катамаран вдруг дернулся, накренился и, сделав пол-оборота с неприятным скрипом резины, трущейся по камням, остановился на середине реки.

Яна схватилась за мокрые, железные поручни. Вода шумит вокруг них, поток бьет в гондолу, в которой она сидит. Тонкая водяная пыль обдаёт лицо.

— Все нормально, девочки,— спокойно говорит Михаил.— Денис, вылезай слева. Подтолкни. Очень скользко. Держись!..

Сам Михаил, осторожно ступая на камни, вылезает из катамарана с другой стороны.

— Разворачиваем,— командует Михаил.

Они разворачивают катамаран, и его, действительно, сразу же сносит течением с камней. Михаил с Денисом ловко заскакивают на гондолы и, быстро заняв свои места, усиленно гребут веслами, не давая катамарану снова развернуться боком. По слаженности действий чувствовалось, что такое с ними уже бывало. Диана тоже изо всех сил помогает грести. Наконец, движение катамарана выровнялось, и он снова понесся вперед, между еще более сужившимися стенами сумрачного леса. Он стал еще более диким. В темноте, за седыми от потеков смолы стволами, видны завалы поваленных бурями деревьев. По обеим сторонам черные земляные взрывы вздыбившихся вверх корней, поросший мхом берег, заросли высокого папоротника.

— Ну, как вы? — оборачивается Михаил.

— Страшненько было,— говорит Диана.

— И не такое бывало!.. Но лучше, конечно, не застревать на камнях. Можно и резину порезать.

— Наверное, я где-то зевнула,— сказала Диана.

— Нет, ты все делала правильно. Надо было эти камни обходить. Но, ничего. Может, стоит к берегу пристать? Как, насчет отдохнуть перекусить?

— Я бы не прочь к бережку подрулить,— согласилась Диана.— Уж больно я соком напузырилась.

— Я тоже напузырился,— ухмыльнулся Денис.

— Здесь очень крутые берега. Давайте вон за тем поворотом посмотрим. Диана, сейчас соберись... Течение там быстрое, вон, река как сузилась. Держимся левого берега... Нет!.. Там камни! — кричит Михаил.

Почуввав что-то неладное, Яна вглядывается вперед. Река делает резкий поворот влево, течение очень быстрое и видно, что Михаила что-то беспокоит.

— Слева нельзя, там камни,— кричит он.— Идем по середине. Диана, Денис, нельзя, чтобы нас вынесло к правому берегу... Притормаживайте!..

Течение реки быстро вынесло катамаран к повороту. Камней было уже много и Диана понимает, что должна делать,— в момент поворота надо притормозить со своего края и, как только катамаран развернется, грести изо всех сил, чтобы их не занесло.

Слепящий глаза блеск солнца среди пенистых всплесков, шум воды, удары весел, голос Михаила... Яна, крепко держась за поручни, увидела, что их катамаран несет к правому берегу, к той его части, что была скрыта за поворотом. И тут они увидели то, что было скрыто до сей поры,— упавшее на правом берегу дерево. Острые ветви направлены в сторону катамарана, и дерево несло прямо на них.

Яна не успела испугаться, до того быстро все произошло. Хлопок, еще один хлопок, резкий скрежет царапающейся резины. Михаил с Денисом хватаются руками за ветви, отталкивают их от себя. Острая, гибкая ветвь чуть не столкнула Диану, но та успела отбить ее рукой и закричала Яне: «Пригнись!»

Течение подхватило катамаран и он, с креном на один бок, понесся дальше по реке.

— Гребем туда! — показывает рукой Михаил.

— Нас, кажется, проколело! — кричит Диана.

— Яна, с тобой все хорошо? — оборачивается Михаил.— Девчонки, вы целы?

— Да... Да...— только и может выговорить Яна.— Она чувствует, что все тело ее дрожит, и тут только вспоминает ту ветвь, что прошла так близко от лица.

— Все нормально,— чуть спокойнее говорит Михаил.— Давайте вон туда, к песчаному берегу.

Как только проколота и потерявшая упругость гондола зашуршала по песку, Диана соскочила на берег и тут же погрузилась в песок по колена.

— Блин! — закричала она.— Да тут!.. Тут... Зыбучий песок!..

Михаил с Денисом подхватили Диану подмышки и вытянули из песка.

— Фу-у-ф! Кроссовки, кажется, на мне,— тяжело отдуваясь, сказала Диана.

— Высадимся дальше,— показывает вперед Михаил.— Я первый выйду. Берег травянистый, но кто его знает.

— Янка, там реально зыбучий песок,— говорит потрясенная Диана, снова взяв весло и начав грести.— Зыбучий!.. Точно как в «Лунном камне». Бли-и-ин! Вот расскажу Нику с Женькой. Не поверят, ни за что...

— Лучше не рассказывай,— посоветовала Яна.

С резким креном катамаран вошел в тихую заводь. Михаил с Денисом вытащили его на берег. Яне странно было стоять на твердой земле. Ее чуть качало из стороны в сторону. Диана заметила это и взяла под руку. Солнце припекает зеленый травянистый берег, над дном мелководья песчаной заводи носятся юркие мальки. Лес, на противоположном берегу, отражается в воде, как в зеркале, а когда дует теплый ветер, отражение рассекается, словно ложатся на воду небесно-голубые полосы тончайшего шелка и тут же пропадают. Тишина и покой царят в этой заводи.

— Как здесь хорошо! — воскликнула Яна.— Так хорошо, что я могла бы и не уходить отсюда всю свою жизнь. И вообще, я вам скажу,— на земле как-то надежнее.

— Ну, не скажи,— заметила Диана, взглянув на свои залепленные песчаной жижей джинсы.— На земле тоже надо держать ухо востро.

— Мы вечером найдем такое же место. А здесь отдохнем и перекусим. Но сначала, Денис, заклеим проколы. Кажется, их было два. Будем искать... А вы далеко в лес не уходите. Тут может быть топко.

— Э-гей!.. Здесь можно купаться! — воскликнул Денис и, зачерпнув воду ладонями, подбросил искрящиеся брызги вверх. Они распались над ним водяной пылью, а эхо его голоса, отраженное лесом на другом берегу, разнеслось далеко-далеко и затихло вдали.

Через час, выкупавшись в реке, они расположились на траве, на солнышке. На заклеенной гондоле катамарана сушились Дианкины джинсы. Закутанная в плед, она разрешила жареную курицу, которую Михаил достал из сумки, сыр, помидоры и огурцы. Денис притащил бутылку кваса. Он хранил ее в специальном местечке под катамараном, и квас сохранял прохладу реки.

— Прям, неудобно,— сказала Дианка.— Вы тут такой пир затеяли.

— Все нормально, девочки! — улыбнулся Михаил.— Чудесный день, лето, солнце! Зимой будет что вспомнить. Жизнь — она такая короткая, я вам скажу, что не успеваешь осознать, до чего же она хороша. Давайте, чокнемся квасом за нашу встречу! Если бы не ты, Диана, если бы не твои усилия, там, на тех ветвях, все могло бы оказаться гораздо серьезнее. Ты молодец, не растерялась. И Яна не подвела. Мужественно держалась.

— Руками я, точно, держалась. А про «мужественно», не знаю,— засмеялась Яна.

— Молодцы!.. В следующий раз поплывете, будете уже знать, что к чему.

— Надеюсь, не попадем больше в передраги,— заметила Дианка, входя в роль бывалого путешественника.

— Знаешь, Диана, как говорили восточные мудрецы? — спросил Михаил.

— Они много чего говорили. Разве все помнишь.

— Они говорили, что человек, не совершивший ошибку, подобен ученику, прогулявшему урок. Так что все передраги полезны. Это опыт. На поворотах надо быть особо внимательными.

— Те же самые восточные мудрецы говорили, что если человек совершил ошибку дважды, то он обязательно совершит ее и в третий раз.

— Не дай Бог! Диана, с тобой надо пить не квас, а что-нибудь покрепче, — заметил Михаил.

— Знаю, — сказала Диана. — Мне говорили, что я отличный парень.

— Хорошо, что ты с нами, — улыбнулся Михаил. — Ну, а чем вы по жизни занимаетесь, девочки?

— Яна художница. Причем, отличная! Она сейчас в Англии живет. Но это временно, пока у мужа там работа.

— А ты, Диана? — прищурился Михаил. — Не могу представить, чем ты занимаешься.

— Что, непохожа на человека, который чем-то сильно занят? Но это на первый взгляд. Пока присматриваюсь, в каком, лишенном всякого смысла предприятии, мне стоит поучаствовать. Ну, и как бы, между прочим, стараюсь стать писателем.

— И ты что-нибудь уже написала?

— Одну книгу написала. Но это так — начало. Вторая книга будет лучше. Хотелось бы вздыбить мировую литературу. Взболтнуть ее, а то немного она ряской потянулась.

— С какими людьми я здесь сижу! Яна, неужели она не шутит?

— Она прекрасно пишет. И, действительно, написала книгу.

— А как называется твоя книга?

— «Люболь».

— Э... Не понял.

— Ну, это «любовь», только одна буква заменена. Любовь, как боль...

— О любви, значит, книга.

— Не совсем.

— О чем же?

— Ну, если так — коротко... Представьте себе самого дремучего дикаря в каком-нибудь дичайшем уголке мира и, допустим, что он о цивилизации не имеет никакого представления. Мы даем ему в руки книгу. Он открывает ее, что видит?

— Видит что-то непонятное.

— Да. Он не знает, что это за предмет и для чего он нужен. Открывая книгу, он видит черточки, закорючки, точки, подобные следам зверей. Какие-то знаки, например *G*, напоминает ему его бумеранг, а *T*, напоминает топорик, которым он бошки раскалывает. Что напоминает ему *O*, я умолкну, слишком интимно...

— Дианку надо притормаживать, — смеясь вместе с Михаилом, сказала Яна.

— Продолжаю... Дети, закройте уши... Итак, он видит закорючки, что-то ему напоминающие, но он не догадывается, что это текст, и он несет послание. В нем заключена информация. Так вот, мы, подобно тому дикарю, не догадываемся, что нас окружает Великая Книга. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, чувствуем — все это знаки. Деревья, облака, звезды, животные, растения и все остальное, включая нас самих, все это знаки Текста Бытия. Для того, чтобы читать книгу, нам надо учиться чтению по букварю. Точно так же и моя первая книга, и последующие, будут такими букварями, по которым, в первую очередь я сама, в процессе писания, пытаюсь, хоть немножко, перестать быть дикарем и начать осознавать Знаки Бытия, постигать их смысл и значение.

— Как интересно! — покачал головой Михаил. — Да... Замах у тебя грандиозный!.. А вот, любопытно, как ты собираешься вздыбить и взболтнуть мировую литературу?

— Здесь работы непочатый край. Все не так... Взять хотя бы... Хм!.. Даже не знаю, с чего начать.

— Все равно с чего.

— Хорошо, возьмем фантастику. Меня с детства интересует вопрос. В художественной литературе есть великие писатели — Шекспир, Бальзак, Толстой, Достоевский и пр. В жанре фантастики тоже есть выдающиеся писатели. Тут и Жюль Верн, и Герберт Уэллс, Саймак, Шекли, Азимов, Кларк и прочие. И теперь вопрос — почему выдающиеся писатели-фантасты уступают в художественной силе мастерам художественной прозы?

— Разве уступают?

— А вы не заметили? Не поверю, если мне кто-нибудь скажет, будто есть писатели-фантасты, которых по художественному уровню можно поставить рядом с Шекспиром, Сервантесом, Гоголем, Маркесом, Флобером или Фолкнером, Толстым и Достоевским. Где что-нибудь подобное — «быть или не быть!», произнесенное на какой-нибудь космической станции или безлюдной планете? Где Хемингуэзовское «прощай оружие» по окончании межгалактической бойни? Или, люди в будущем, попав в космос или на другую планету, перестанут быть людьми? У них не будет ни великих мыслей, ни страстей? Так почему же нет фантастического романа, впрочем, и детективного тоже, который можно было бы поставить в один ряд с «Преступлением и наказанием»? А ведь роман этот, в сущности, детектив и даже триллер. Достоевский показал направление. Но так и остался один на этом пути, потому что нет ему равных в фантастике...

— Я думаю, в фантастике другие задачи ставятся. Писатели пытаются заглянуть в будущее. Хотят увидеть...

— Нет, нет и нет! В будущем как раз самое интересное и есть — человек, а не гиперскачки через вселенную.

— Слушаю тебя, и, вроде, как ты права. Но мне нравится фантастика такая, какая она есть. Я много в свое время перечитал.

— А мне не нравится. Такое чувство, что над писателями-фантастами нависает какой-то потолок. Они доходят до него и упираются головой. Только один человек, я считаю, может считаться исключением — Рэй Бредбери. Его книги — грандиозная проза! Вот, я считаю, правильное направление. Его «Вино из одуванчиков» я читаю с таким же удовольствием, как и «Степь» Чехова. И та, и другая книга — гимн человеческому бытию... Вот какие мысли меня одолевают...

— Да-а-а! — задумался Михаил, покачивая головой. — С тобой трудно не согласиться.

— Нужен переворот в жанре фантастики, — заявила Дианка и, с хрустом откусила огурец. — И я знаю, в каком направлении надо двигаться.

— Давай ты нам это вечером на привале расскажешь. С удовольствием тебя послушаем. А теперь надо собираться в путь... Ох, Диана!.. Ну, ты дала!.. Подумать только, о чем некоторые люди размышляют!..

Катамаран скользит по реке. Предвечернее солнце заливает все вокруг мягким, золотистым светом. Яна положила руку на гондолу и чувствует приятное тепло нагретой солнцем резины и легкую дрожь. Мелкие волны хлопают по гондолам, обдают их клочками быстро тающей на солнце пены. Яна удобно устроилась среди мягких рюкзаков. Она смотрит на спину Дианы, на ее крепкие руки, ловко орудующие веслом, на золотистые искорки солнечного света на воде и, вдруг, словно пробудив-

шись от сна, почувствовала резкое чувство счастья. Ее иногда охватывали такие состояния, когда казалось, что лучше этого мига не может быть ничего. Ей казалось в такие мгновения, что она в ином мире, и в этом мире она дома. Она узнает это чувство покоя и счастья. Она знала его еще до рождения и теперь вновь испытала. Такие мгновения были чудесны... Но, поскольку произойти такое могло где угодно — и в очереди в магазине, на улице, среди прохожих, она, однажды, поняла, что все мгновения жизни достойны того, чтобы, подобно Фаусту, воскликнуть — «остановись мгновение, ты прекрасно!» Только не всегда мы это чувствуем и осознаем, а только в какие-то редкие моменты, когда попадаем в единый резонанс с существованием.

Однажды и Диана ей сказала: «Знаешь, что чувствует каждый человек перед смертью? Сначала он, пораженный, думает,— и это все!? А потом осознает, что каждый миг его жизни был счастьем. И эти мгновения проносятся перед его взором.

Яна глубоко вдохнула чистый лесной воздух и почувствовала, что ощущение счастья пропало так же внезапно, как и появилось. Что это было? — думала она потом. Как вернуть это невероятное чувство?

Дианка подкралась к ней тихо, имитируя кошку, мурлыкнула, потерлась щекой о ее локоть и легла рядом.

— Пришла к тебе отдохнуть. Не скучаешь?.. Меня освободили от вахты,— сообщила она.— А воздух какой! А!.. Он пахнет летом. Жаль, что его нельзя законсервировать в трехлитровой банке и открывать зимой. Он такой густой, так пахнет лесом и рекой, что его можно резать ножом, мазать на хлеб.

— Ты отдохни,— погладила ее Яна по плечу.— Ты устала. Жаль, что не могу помочь тебе.

— Денис был прав. Я усталости не чувствую. Тело, как автомат, руки уже сами гребут. Сейчас полежу с тобой и снова на вахту. Такова наша моряцкая судьбушка. Надо отрабатывать кусок хлеба.

Солнце скрылось за деревьями, перестали петь птицы, и стало прохладнее. Время от времени из леса доносились голоса, виднелись палатки и лежащий на берегу катамаран. Михаил предложил поискать место для лагеря. Но они проплыли еще около часа, пока не увидели место, которое им понравилось.

Огромная ель склонилась над водой так низко, что они проплыли под ней, раздвигая свисающие вниз ветви, и заметили, слева по течению, маленькую полянку на самом берегу. Впереди, у поворота реки, стены леса смыкались, отчего возникало ощущение замкнутого пространства. Покой, неподвижность и настороженная тишина царили здесь. Пахло мхом, грибами и сыроватым духом вывороченной корнями деревьев земли. Что-то хрустнуло на противоположном берегу. Берег близко, метрах в двадцати. Яна вгляделась в глубину леса и среди, едва виднеющихся в сумерках, завалов деревьев, ей почудилось движение какой-то косматой тени.

Плеск весел эхом разнесся над водой, зашуршал песок под днищем катамарана и он остановился, уткнувшись в берег.

— Вот здесь мы и остановимся,— сказал Михаил.— Хорошее место.

— Михаил лаконичен и деловит,— заметила Диана.— А по мне, это место не просто хорошее, а замечательное! Здорово было бы пожить здесь несколько дней! Или месяц... Или всю жизнь. А, Янка?.. Как насчет того, чтобы построить здесь избушку, писать книги и рисовать?..

— А на что бы вы жили? — усмехнулся Михаил.— В первую же зиму бы сбежали отсюда.

— Как на что? Моя тайга ходить. Белка бить. мех дорого продавать.

— Эх, ты... Тайга,— покачал Михаил головой.— Давайте, вытаскиваем вещи, ставим палатку.

— Мне нравится здесь, Диана,— приобняла ее Яна.
— Вот!.. А еще «гением» на меня ругалась. Я же знала, что тебе понравится.

Пылает костер, высвечивая край желтой палатки, поблескивают в темноте металлические крепления катамарана на песчаной кромке берега. Михаил устроил в нем удобное место для ночлега с надувными подушками и спальными мешками.

— Вот, девочки, думаю, здесь вы классно устроитесь. Сейчас я еще тент сверху растяну. Не замерзнете... А мы с Денисом рядом, в палатке.

Над костром кипит в котле вода, Денис сыпет в нее какую-то крупу. Михаил открыл две банки тушенки, нарезал огурцы, сыр...

— Посмотрите,— показывает им Михаил большую охапку трав.— Иван-чай. Там, дальше, вдоль берега растет. Сегодня лесной чаек поьем.

— Мы так и не порыбачили,— огорченно произнес Денис.

— На ночь донки поставим. Будет у нас на утро рыба на углях. Чем не жизнь, девочки!?!..

— И часто вы так путешествуете? — спросила Яна.

— Могли бы и почаще, если бы не моя работа. Но стараемся выбиратья. Сыну тоже нравится на природе.

— Когда у меня будет сын, я его тоже всему научу,— сказал Денис и подбросил валежника в костер.

— Так оно и получается,— кивнул головой Михаил.— Меня ведь, тоже, отец приохотил к путешествиям.

В глубине леса прокричала ночная птица, и снова стало тихо.

Каша с тушенкой показалась Яне необычайно вкусной. Но это, наверное, оттого, что потрескивают сучья в костре, изредка слышны тихие всплески и горят над ними летние звезды.

— Берите, девочки, сыр. Очень вкусный, домашний,— предложил Михаил, подвигая им тарелку со светлеющими в темноте кусками.— Да, кстати, Диана!.. Ты начала рассказывать, какой должна быть фантастика. Расскажи. Самое время...

— Не хочется сейчас о серьезном. Так хорошо у костра просто помолчать.

— А ты несерьезно об этом расскажи. Я знаю, ты умеешь,— засмеялся Михаил.

— Хорошо... Вы, Михаил, любите читать?

— Конечно! Для отдыха. Фуру гнать через всю Европу — это, я вам скажу, не шутка. И так месяцами. Тут тебе не до «Братьев Карамазовых».

— А что читали последнее?

— «Аэропорт» Артура Хейли. Перед этим читал его «Отель».

— Не совсем то, что мне хотелось бы услышать,— заметила Диана,— но ладно. Пусть будет Хейли. Так вот, как вы думаете, что такое — фантастика?

— Ты меня спрашиваешь?

— Да. Прежде чем обсуждать что-либо, надо понять, говорим ли мы об одном и том же.

— Ну, хорошо... это роман, действие которого происходит в будущем или, скажем, при перемещениях во времени, в космосе и прочее.

— И там, наверное, речь идет о каких-то новых технологиях, недоступных нам сейчас...

— Конечно.

— То есть, как я поняла, это роман о будущем. А романы Хейли к этому отношения не имеют. Правильно?

— Ну, нет, у него...

— А теперь, представьте себе, что мы достигли такого уровня, что можем пере-

мещаться во времени. Предположим, додумался до этого какой-нибудь гениальный физик со включенными волосами. Но перемещать сразу человека — опасно. Для начала надо переместить во времени какой-нибудь объект. Например, книги Артура Хейли «Отель» и «Аэропорт». И отправим мы их в начало девятнадцатого века. Итак, американцы или европейцы, уж не знаю, к кому книга попадет, обнаруживают роман, действие которого происходит в будущем. А мы с вами, только что, решили, что книга, действие которой происходит в будущем и в которой описаны новые технологии, относится к жанру фантастики. Но, согласитесь, у них в руках окажется странный фантастический роман. В нем читатель девятнадцатого века столкнется с такими технологическими достижениями, что он ничего не поймет без подробных комментариев, но, в то же время, речь в книге идет совсем не о них. Это книги о человеческих отношениях, страстях и конфликтах. И как раз эти отношения совершенно фантастичны для читателя девятнадцатого века.

— Понимаю тебя. Но как сейчас можно написать книгу, чтобы это было написано как бы в будущем и для людей того времени?

— В этом и заключается задачка для фантастов. Ты понимаешь меня, Янка?

— Я то понимаю тебя, то снова не понимаю... Но больше понимаю...

— Или возьмем роман Михаила Шолохова «Тихий дон». Уж так это далеко от какой-либо фантастики. Но представьте себе, что было бы, если бы эта книга оказалась в России восемнадцатого века и была переведена на тот язык!.. «Тихий Дон» сразу же становится невероятной фантастикой в жанре альтернативной истории! Российская империя разрушена, монархия свержена! Вдумайтесь, что там происходит! В стране гражданская война, трещат пулеметы, рвутся гранаты и снаряды, какие-то газы... Россия преобразуется в новое государство... Разве это не фантастика!? Но, при этом, какая психологическая глубина! Какая художественная мощь! Сколько мудрости и поэзии! Какие страсти и коллизии — жизнь, смерть, любовь, ненависть! Вот о чем я говорю. Настоящим современным фантастическим романом будет новая эпопея «Война и мир», действие которой происходит в будущих веках, в космосе, в других галактиках. Но мне скажут, что такая эпопея есть — «Звездные войны». Ха-ха-ха! — отвечу я вам. Можно ли это сравнивать? Где Наташа Ростова, которую князь Андрей оставляет на Земле, отправляясь на битву с межгалактическим узурпатором? Где его мысли под дубом? Где «совет в Филях», происходящий на какой-нибудь захудалой орбитальной станции?.. Где роскошная Элен в платье, созданном с использованием новейших технологий, которое меняет цвет и покрой в любой момент, когда она этого пожелает? А в особо пикантных случаях оно может и вообще исчезнуть с ее тела, оставив на ней только бриллианты?..

— Диана, прекрати! — хохочет Михаил. — Теперь верю, что ты писатель. И комик, к тому же. Но почему бы тебе не взять и написать такой роман? Ты уже знаешь, что надо делать.

— Знать и уметь, разные вещи.

— Нет-нет, я уже вижу, что ты на многое способна.

— Кто знает. Может и способна. Когда-нибудь и замахнусь на нечто подобное.

— Да... Замыслы у тебя грандиозные!

— Что там замыслы, — махнула рукой Диана. — Я еще в самом начале пути. Можно сказать, я еще в детский садик хожу. А ведь еще школу надо закончить, университет, а тогда уже и за работу браться. То, что я задумала, требует большой подготовки.

— Так у тебя и жизни не хватит.

— А кому ее хватает, — заметила Диана. — Душа — она всегда на взлете, а вот тело слабеет. Да жизнь доканывает.

— Да, жизнь — она такая... — заметил Михаил, подбрасывая валежник в огонь. — А что будет дальше, вообще не известно.

— А мне кажется, — сказала Диана, — сейчас самые счастливые моменты нашей жизни. Посмотрите, какая ночь! Какое кругом чудо!.. Янка, тебе не холодно?

— Я плед сейчас достану, — поднялся Михаил.

— Нет-нет, мне у костра тепло, — поеживаясь, сказала Яна.

— Ничего-ничего, накроем твою спинку, а то от реки тянет... Попрохладнело, однако.

Михаил закутал Яну в плед и разлил всем чай в большие кружки.

— Можно руки погреть, — сказал он.

— Интересно, — сказала Диана, — тут кто-нибудь до нас останавливался?

— Да. Мы с Денисом остатки костра заметили.

— Это я заметил, — уточнил Денис.

— Ну, да, правильно, ты у нас самый глазастый.

Все у костра замолчали, прислушались.

— Как тут все... необычно! — произнесла Яна, задумчиво глядя в темноту, обступившую их со всех сторон. — Я обязательно нарисую большую картину, с этой елью над рекой, с отражением леса в воде, костром и звездами в небе. Здесь такая атмосфера, что хочется верить чудесам. Очень много в мире рациональных людей, но они живут в городах. А если ты живешь в лесу или в горах, если плаваешь в море, то будешь совсем другим человеком.

— Это точно, — согласилась Диана. — Английский писатель, Джозеф Конрад, а до писательства он был капитаном корабля, говорил, что не знает ни одного матроса, который, пережив тайфун, остался атеистом.

— А когда он плавал? — спросил Михаил.

— То было в девятнадцатом веке. Он плавал на парусных судах.

— Могу представить...

— А ты, — обратился Денис к Яне, — видела в жизни что-нибудь таинственное?

— Денис, почему на «ты» обращаешься? — сделал ему замечание Михаил.

— Ничего-ничего, мы тут с ним уже запросто общаемся. Мы уже на «ты» перешли, — приобняла Дениса за плечо Яна. — Таинственное, говоришь? У меня все было таинственным и чудесным... Но это не будет тебе интересно.

— А вы видели каких-нибудь духов? — спросил у Дианы Денис.

— Сто раз, — ответила Диана. — Помню, когда-то в детстве, с моим другом, Мишкой, вызывали духов, гадали с блюдцем.

— Вообще-то советуют этим не заниматься, — заметил Михаил.

— Знаю, но был такой период в детстве, когда любопытство пересилило.

— И что, кто-то отвечал?

— Вот, именно — кто-то. А кто, не знаю. Но ответы бывали любопытные. Однажды мы вызвали дух полководца Суворова. Думаем, что бы у него спросить такое. Полководец ведь. Ну, мы и спросили, какая армия самая сильная в мире — российская или американская?

— Интересно, — заинтересовался Михаил. — Что же он ответил?

— А вот угадывайте. Тогда и увидим, кто из вас Суворов.

— Российская, — сказал Михаил.

— Нет.

— Американская?

— Нет.

— Но ведь всего два варианта, как я понимаю.

— Только не для Суворова. Вы забываете, что это был выдающийся полководец. Он ответил коротко и гениально — «моя».

— О!.. Сильно! — проговорил Михаил.— Хорошо сказал!

Яна, кутаясь в плед, встала и, осторожно ступая в темноте по траве, подошла к катамарану. Он лежал на берегу, у самой воды. Она не видела ни реки, ни леса напротив, только верхушки деревьев едва угадывались на фоне неба. Яна села на упругую гондолу и прислушалась к тихому журчанию реки, вдохнула прохладный речной воздух.

— Яна, все в порядке? — слышался голос Михаила.

— Да-да. Все хорошо. Просто я хочу здесь посидеть.

Яна хорошо видит Диану у костра, слышит ее голос, смех Михаила и Дениса. Дианка опять рассказывает что-то смешное.

Яна смотрит на Диану и думает — ведь она же все время со мной, поддерживает меня во всех смыслах, не отходит от меня ни на шаг, но как же она, при этом, умудряется оставлять меня одну тогда, когда мне хочется побыть в одиночестве. И сейчас она оставила меня одну... Наверное, это от того, что она хочет, чтобы я чувствовала себя свободной. Да, это так, ведь однажды, еще в своем письме, она так и писала: «Любить свободу — это значит дать другому возможность быть свободным».

Освещая фонарем землю под ногами, к Яне подошел Михаил.

— Заброшу пару донок,— сказал он.— Утром будем с тобой, Яна, вытаскивать. Ловила когда-нибудь, рыбу?

— Нет. Интересно, что поймается.

— Да, это и есть самое интересное. Судя по течению, тут довольно глубоко. Тут и лещ может быть, и хорошая плотва, и вимба, и линь...

Михаил с легким всплеском забросил донки и, войдя в воду, вымыл руки.

— А вода-то теплая! — сказал он.— Да, Диана права. Много было у нас с Денисом стоянок, но это место лучше всех.

Он вышел на берег и подошел к катамарану.

— Посмотри, Яна, вот за это надо потянуть и навес закроется до конца. Пока пусть будет так, а потом вы сами отрегулируете, как вам нравится. Если что, зовите. Мы рядом.

— Спасибо вам, Михаил!

— Да что ты. Это вы нам помогли. Мы с сыном настроились на поездку, а у друзей проблема дома. Благодаря вам, мы здесь. А Диана у тебя сильная. Хорошая у тебя подруга. И, к тому же, веселая.

— Она мне даже больше, чем подруга. Она мне — как сестра.

— Тогда еще лучше. С ней не пропадешь.

— Когда она была маленькая, она мне так и писала. Лет десять ей тогда было, и очень забавно это звучало. А еще она писала, что «усестрит» меня. Теперь-то я вижу, что шутки ее — совсем и не шутки.

— Отдыхайте. Пойду своего парня укладывать, а то они с Дианой всю ночь проговорят. А нам ведь еще завтра плыть. Хорошего вам сна!

— Вам тоже, Михаил, хороших снов!

В спальном мешке оказалось очень тепло и уютно. Они с Дианой прижались друг к другу и даже обнялись, чтобы было теплее.

— Ну и денек! — прошептала Диана.— Сколько всего было!

— Устала?

— Нет, совсем и не устала.

Полог над ними был раскрыт, и они лежали, глядя на звезды.

— Красивая это штука — звезды,— сказала Яна.— Только в жизни нет времени обратить на это внимания.

— В первую нашу ночь с Ником мы тоже лежали под звездами,— блеснув глазами, шепнула Диана.— И, между прочим, мы целовались...

И придвинувшись к Янке, она поцеловала ее в щеку.

— Дианка! — прижалась к ней Яна.— Прекрати хулиганить!.. А что-то прохладненько как-то.

— Сейчас согреемся. Смотри, что у меня есть.

Потянувшись, она достала что-то из сумки.

— Что это?

— Коньяк. Маленькая бутылочка. Я сегодня в баре купила. Знала, что пригодится.

— Дианка, ты что?

— А что? Бутылочка то сувенирная. На два хороших глотка. Зато сейчас согремся. Давай, быстренько, раскрывай ротик. И не спорить! Делай глоточек.

— Из горлышка?

— Конечно.

— До чего я дошла. Коньяк из горлышка!..

— Давай-давай... Молодец! Вот!.. Хорошая девочка! Дианка тебя научит согреться. Давай теперь мне... Хе-х!.. Чувствуешь, как тепло пошло по всем жилкам?

— Чувствую.

— Потом, перед самым сном, еще глотнем.

— Ох, Дианка!

— Что Дианка... У нас теперь есть тайна — вместе под одеялом коньяк из горла хлестали. Фу-ф!.. Хорошо!.. Мне нравится. Здорово, что поплыли. А то сидели бы сейчас там одни, как две клуши. Нет, Янка, жить надо так, чтобы... свист ветра в ушах. Помнишь, как Маяковский говорил? По жизни надо идти так, чтобы штаны трещали.

— Дианка, я так не могу ходить... Ты же знаешь. И вообще, у меня уже голова закружилась...

— А ты положи головку на подушечку. Только ты еще не спи. Я с тобой еще не наговорила. Знаешь, я с тобой никогда не смогу наговориться. Даже если бы мне миллион лет жизни дали, я и тогда с тобой не наговорила бы.

— О чем со мной говорить? Да еще миллион лет. Я ничего не знаю.

— Расскажи мне еще что-нибудь, про маленькую Янку.

— Мне про «маленькую Янку» забыть хочется.

— Тогда просто полежим и посмотрим на звезды. Самое чудесное — засыпая видеть звезды.

— Я думаю, эту ночь мы никогда не забудем.

— Как можно ее забыть! Ты устала, Янка. Засыпай...

— Нет. Я спать не хочу. У меня столько идей появилось. Вот вернемся домой, начну рисовать.

— Ель над рекой?

— Да. Все это место.

— Ты можешь в любой комнате мастерскую устроить. А можешь сразу во всех.

— Мне достаточно уголочка у окна. Так мне уютнее... А у тебя никакие идеи не появились? Столько всего за эти два дня было! Ты бы тоже начала что-то новое.

— Еще пока думаю. Не все, что происходит в жизни, может быть темой книги. Однажды я поняла одну вещь — важны не какие-то события, а намеки. Недосказанное дает мне гораздо больше. Рассказать один случай?

— Да.

— Однажды зимой я вышла из дома очень рано. Было часов шесть утра. Проснулась, решила поработать, но перед этим захотелось пройтись по морозцу. Темно еще,

фонари горят, иду одна по дороге, а снег метет и метет, снежинки вокруг ламп кружатся, как мошки. С каждой лампы сосульки свисают. Иду... И вдруг вижу, у ворот одного из домов, на краю дороги, стоит машина. Возле нее дядечка... Ну, такой — лет семидесяти, седой, но бодрый, одет прилично. Стоит он у машины и набирает номер на мобильном. Я сразу поняла, что звонит он кому-то в этот дом, возле которого остановился. Представь, шесть утра, темно, в том доме ни в одном окне света нет, все спят, а он стоит у ворот и звонит...

— Да, любопытно.

— Вот, и мне показалось, что это может быть началом интересной истории. Что-то очень важное происходит, раз приехал он так рано, и нельзя было подождать, пока наступит утро. Отличнейшее начало книги или фильма! Тут целая драма намечается!.. Надо только догадаться, что же происходит... Я продолжаю идти дальше, и вдруг слышу за спиной голос того дядечки. Видимо, он дозвонился. И говорит он по телефону так громко, что я слышу каждое слово... Но знаешь, лучше бы я не слышала то, что он сказал. Это все испортило. Уничтожило всю атмосферу саспенса и нуара. Пропала вся глубина и таинственность происходящего. А сказал он вот что: «Эй, сосед, ну так как, ты едешь в Ригу со мной? Ну, тогда давай, собирайся. Я как раз мотор разогреваю... Да, я уже тут, у твоего забора».

— Эх, разрушил он твой нуар! — засмеялась Яна.

— Вот, и я об этом. Так что, если что-то пишешь, надо не все слышать, не все видеть и не все знать. Намеки, детали, а остальное — вот тут, — показала Диана на свой лоб. — Можно, конечно, взять ту завязку и преобразить все в другую историю.

— Так и сделай. Ты сама себе хозяйин. Это твой мир... А почему тебе интересны мои истории из прошлой жизни?

— Дело не в «интересны», хотя, это тоже... Просто тогда смыкается круг. Чем больше я о тебе узнаю, тем больше мне кажется, что мы всегда были вместе. Твои рассказы становятся моими воспоминаниями. А что связывает вместе людей, которые провели детство вместе? Воспоминания. Ты всегда, Янка, была со мной.

Яна протянула руку, коснулась лица Дианы и почувствовала его тепло и маленькую слезинку на щеке. Она накрыла ее ладонью...

— Давай расскажу тебе о Рубине.

— Это имя?

— Да.

— Красивое. Никогда не слышала о таком имени. И кого так звали?

— На стене нашего детского дома было мозаичное панно, — начала Яна и замолчала, глядя на летящий в небе самолет.

Он помигивал огоньками на фоне искрящейся дымки Млечного пути. Иногда он пропадал, скрытый легкой пеленой дымки, и снова показывался в черном небе...



Игорь Карлов

(г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)



**ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЦК КПСС, ПРЕЗИДЕНТА СССР
ГОРБАЧЕВА М. С.***

*Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша»
им. Н. С. Лескова.*

Бесцельно колеся по городу, Чернышев незаметно для себя оказался в центре, рядом с важнейшими муниципальными зданиями, включая УВД. Тут поневоле сбавишь скорость, чтобы не нарваться на неприятности, поэтому Андрюхина «ласточка» пошла плавнее, спокойнее, в лобовом стекле уже не металась в страхе, а торжественно проплывали отблески фонарей. Потихоньку проезжая мимо главной площади, Андрюха разглядел посреди подавляющего безлюдным масштабом пространства одинокую мужскую фигуру, застывшую перед памятником Ленину. Со стороны казалось, что ироничный скульптор водрузил лицом к лицу два изваяния: циклопический черный вождь с простертой дланью и маленький серый человечек, задравший голову. Несмотря на некоторую карикатурность, в этой картине была своя гармония — величие подчеркивалось малостью, а незначительность получала оправдание через приобщение к грандиозности. Однако, что за странный субъект мог бы так благоговейно замереть не под балконом возлюбленной, а у монументального воплощения официальной идеологии?

«Пьяный, поди», — подумал Андрюха и резко затормозил. Он опустил стекло, высунулся в окошко.

— Э, мужик! — крикнул Андрюха. — Скажи: «да» или «нет»?

— Да! — твердо и четко отозвался незнакомец, даже не повернув головы.

VII

Рогов не обернулся ни на скрип тормозов, ни на внезапно и безосновательно брошенный ему в спину вопрос, ни на звук отъехавшего автомобиля. Ответил машинально, передернув плечами, словно отгоняя назойливую муху, и забыл — ничто не должно было отвлекать от главного.

Вообще, Рогов был человеком позитивного склада, поэтому слово «да» нравилось ему гораздо больше, чем «нет». Сам Рогов называл свое мироощущение «оптимизмом», что было ошибкой лишь в грамматике, по сути же верно отражало его жизненное кредо, в котором обиходная jovialность и повседневная мажорность базировались на научно обоснованном историческом оптимизме, отчего приобретали черты безотчетного мистицизма. Рогов иногда путался в мудреных терминах, которыми старался уснастить свою речь (справедливости ради следует отметить, что он не столько любил козырнуть в разговоре заковыристым словом, покрасоваться перед собеседником, сколько добросовестно вникал в значение звучных и придающих су-

* Главы из повести.

ществованию осмысленность вокабул, штудировал словари, часто делал выписки), однако четко усвоил: понятие, обозначающее определенную идейную позицию, обязательно должно завершаться суффиксом «изм». Ну, и корень хотелось бы употребить похожий на нужный. А лингвистические тонкости, оттенки значений, вопросы паронимии для вооруженного всепобеждающей марксистско-ленинской теорией сознательного строителя коммунизма, каковым являлся Рогов, не столь уж существенны. Причем, отдававшее казенщиной словосочетание «строитель коммунизма» он с полным правом применял к себе буквально, поскольку и на стройке работал, и в коммунистической партии состоял.

Впрочем, не в том дело, что состоял... Сколько формально числящихся на партийном учете товарищей по существу ничего общего с коммунизмом не имеют! В этом Рогов неоднократно убеждался, это была его главная в жизни, постоянно изводящая боль. Лекарство же находилось единственное: чтобы избавиться от подступавшего порой к горлу тошнотворного комка изнеможения, чтобы беспощадно давить копошащиеся в душе эмбрионы сомнений, чтобы не сломаться под напором безыдейности повседневной рутины, требовалось хоть на несколько минут зримо, осязаемо приобщиться к мировоззренческой громаде, ощутить нерасторжимую связь поколений революционеров, от зачинателей великого дела до идущих на смену продолжателей. Как, периодически заводя механизм, поддерживают хронометр в рабочем состоянии, так и Рогову причащение к высоким идейным ценностям позволяло сверить тиканье своих капризных наручных часиков с непреложно точным громом кремлевских курантов, покрывавших всю планету переливчатой мелодией «Интернационала». И это не фигуральное выражение. Рогову однажды довелось эту сверку провести в действительности, оказавшись на Красной площади.

Он приехал тогда в Москву, чтобы посетить Мавзолей Ленина, и попал на знаменитую брусчатку на исходе ноябрьской ночи. По первой поземке Рогов споро двигался вдоль Кремлевской стены мимо выведенных усилиями хитроумных селекционеров елей с хвоей, не встречающегося в естественной среде державного оттенка, торопливо приближался к гранитной ступенчатой пирамиде, чей священный покой хранят заступившие на Пост номер один воины, трепетно-неподвижные, как и диковинные ели особого назначения. Рогов, спешивший занять очередь к телу вождя, на ходу поглядывая на циферблат своего «Полета», про себя отметил: «О! Пять часов уже!» Вот тут-то и разразилась музыка высших сфер. Рогов непроизвольно вздрогнул и приостановился. Плеск густого потока небесной металлической реки вмиг затопил простор майдана, а затем медленным пульсом грянули пять ударов. То было биение сердца Вселенной. Каждая затихающая с отяжкой пульсация молотом вбивала Рогова в землю. Внезапно оказавшийся махоньким, словно шляпка гвоздя, Рогов по-новому, с неожиданного ракурса, увидел мир. Циклопическая Спасская башня ожила и тяжело задышала гигантскими механическими легкими, площадь вдруг раздалась безбрежным морем, а Рогов погрузился на дно его и оттуда, заметаемый легким снежком, разглядел уже где-то в стратосфере наверхья кремлевских бастионов, а над ними — космический корабль с надписью на борту: «СССР». Мгновенно и убедительно сделавшаяся очевидной собственная ни с чем не соразмерная микроскопичность не удивила Рогова. Удивления достойно было другое, то, что такому ничтожеству, как он, вообще дозволено перемещаться по святому месту и глядеть своими зенками на пятиконечные рубиновые звезды. В этот миг Рогов ощутил, сколь радостно было бы навсегда забиться холодной порошинкой в стык между камнями великой мостовой, внедриться малой капелькой в сакральную почву и вечно пребывать здесь, созерцая лишь подбитые подковками рифленые подошвы сапог печатающих шаг часовых, траки гусениц бронетехники парадных расчетов и стертые подметки сандаликов принимаемых в пионеры малышей.

Рогова преобразила нежданно открывшаяся грандиозная картина потаенной сторо-

ны мироздания. На секунду показалось, что перед его глазами промелькнули несколько страниц документа с грифом «Совершенно секретно! Гостайна!» Рогов готов был предположить, что пережитое им благое потрясение может испытать либо идущий во Дворец съездов делегат, либо триумфатором, поднимающийся по лестнице Большого дворца герой советского спорта, либо выходящий из Кремлевских ворот орденосец, смущенно поправляющий пиджак, украшенный ослепительно сияющей, словно елочная игрушка, наградой... Но чтобы ему, может быть, самому непримечательному из миллионов граждан державы, так явственно дано было почувствовать себя Гражданином, ради которого заступают на боевое дежурство расчеты баллистических ракет, взламывают неприступные торосы атомные ледоколы, пробивают тоннели строители Байкало-Амурской магистрали,— этого предположить Рогов раньше никак не мог. Оказалось, что, ступив на Красную площадь простецким работягой из заштатного городка, уходишь с нее сознательным пролетарием, гегемоном. Невероятно! Впечатление было столь сильным, что, пожалуй, затмило даже само посещение Мавзолея.

Рогов впоследствии силился восстановить мельчайшие детали дальнейших событий, но многое странным образом стерлось из памяти, словно бы кто-то нарочно мешал ему. Рогов помнил что, сперва пришлось невероятно долго ждать начала допуска к телу вождя в длинной веренице разношерстной публики. Отыскивая свое место в этой колонне, Рогов все дальше и дальше уходил от Мавзолея, казалось, что он почти обогнул Кремль, а конца «хвоста» так и не видел. Охватывала оторопь: хватит ли на всех Ленина? Смогут ли собравшиеся здесь люди сегодня попасть в Мавзолей? А завтра? А через неделю? Впрочем, Рогов готов был стоять сколь угодно долго — приехал-то он в столицу в праздничные дни; да у него еще и отгулы были, на работу не скоро... В конце концов, это же главная очередь в стране. Она и должна была поражать воображение своими пространственно-временными масштабами. Словно со всех краев государства советского слетелись сюда призраки других очередей, частных или ритуально-торжественных, хитровато-блатных или жизненно необходимых, склочных или отрешенно скорбных. Проверая, не стерся ли номерок на руке, спешила сюда солдатка, чтобы отоварить карточки военного времени, и неожиданно сталкивалась с пузатым джигитом, перекупающим очередь на новую «Волгу»; москвичи, задвленные на похоронах Сталина, молча вставали в затылок за говорливыми одесситами, волнующимися перед дверями ОВИРа; хмурые мужики из очереди к пивному ларьку стояли вперемешку с очкариками, пришедшими сдавать макулатуру в обмен на подписное издание; какой-то нытик из очереди к зубному врачу одним своим видом портил настроение разбитной компашке из очереди у входа в ресторан; школьник, отправленный мамой в очередь за молоком, нетерпеливо размахивал бидоном, в котором погромывала «мелочь», невероятно раздражая тем страдающую мигренью старушку, которую дочь ежедневно гнала к мебельному магазину, чтобы отмечаться в очереди на «Селену»... Сколько же их тут было, этих фантомных очередников!..

Однако Рогова неприятно поразили очередники реальные. Они показали себя... излишне легкомысленными, что ли... Словно и впрямь собрались, ожидая открытия универмага: переминались с ноги на ногу, похлопывали руками по плечам, чтобы согреться, некоторые и вовсе устраивали небольшие пробежки. У кого-то в сумке оказался термос с горячим кофе, кто-то ел бутерброды... Рогову подобное в голову не могло прийти. Он замер смирно, чуть понуро, изредка делая полшага вперед, если сдвигались стоявшие перед ним люди. Да, было холодно, неудобно, но это приносило даже какое-то облегчение, ибо соответствовало серьезности момента. Разве считались с лютотой январской стужей рабочие, пришедшие в двадцать четвертом году на похороны Ленина? Да только лишь из уважения к их великому горю Рогов готов был отморозить пальцы!

Из-за плеча то и дело показывалась голова какого-то общительного гражданина, который все допытывался у Рогова, откуда тот приехал, предлагал познакомиться...

Рогов поначалу ему отвечал, но потом замолчал, перестал оборачиваться, надеясь непритворной суровостью напряженного затылка вразумить болтуна, дать понять, что они тут не на соседской завалинке, а на пороге одной из мировых святынь, и вести себя следует подобающе. И как только неослабевающим ознобом схватило шею, спину, ноги, снова выплыли из прошлого траурные марши и паровозные гудки двадцать четвертого года, унесли Рогова прочь от погрязших в обывательщине современников... Очень важно было отключиться от сбивавших с возвышенного настроения впечатлений, сосредоточиться на главном, а то душа изболелась бы в этой несерьезной очереди.

Наконец, над погружавшейся в сонливое оцепенение продрогшей колонной пролетел облегченный выдох: «Открыли!». Раздались радостные возгласы, кое-кто захлопал в ладоши. Нездоровое оживление вывело Рогова из задумчивости и заставило скроить недовольную мину: опять все как-то неприлично, словно открыли не алтарь, а лабаз. Однако начало движения, оказавшегося гораздо более ходким, чем можно было предположить, воодушевляло, внушало восторг нарастающего нетерпения. И пусть очередь продвигалась с внезапными остановками (то официальные делегации пропускали, то просто сдерживали больно резво пошедших людей), это уже представлялось досадным, но пустяком: теперь каждая минута зримо приближала к встрече с легендой.

Показалось, что в единый миг очередь пронесла Рогова по краснокирпичной дорожке через весь державный палисадник — мимо клумб, грота, лавочек, мимо Могилы Неизвестного Солдата, — затем людской поток через кованые ворота дивной красоты втянулся в теснину между решеткой сада и скалообразным зданием Исторического музея, и вот уже видна трибуна Мавзолея. Рогова вдруг продернула конвульсивная дрожь. Не то, в самом деле, до костей продрог на холоде, не то охватывал лихорадочный экстаз: вот уже скоро, вот сейчас... А вместе с тем, в недрах души фиолетовым цветком распускалась грустинка, ибо, судя по тому, с какой скоростью движется очередь, можно было понять, что у заветного саркофага Рогову ни на секунду не разрешат задержаться. Он просто пройдет рядом со святыней, а этого мало, потому что надо же насмотреться вволю, запечатлеть в памяти нетленный образ Ленина, постоять в скорбном молчании, склонить голову. Рогов видел по телевизору, как патетично это происходит, когда в дни всенародных торжеств руководители КПСС и советского государства, представители братских партий, иностранных держав возлагают венки к Кремлевской стене, склоняют головы... Ладно, пусть более достойные товарищи склоняют головы, Рогову хотя бы одним глазком посмотреть на гроб с телом вождя...

На подступах к Мавзолею наблюдавшие за порядком милиционеры дробили людей на группки, которые порционно втягивались в огороженный металлическими барьерами коридор. Вот и Рогова вежливо, но требовательно придержали за рукав, потюпали малое время, формируя очередной экипаж, а затем вместе с остальными отправили в свободное плавание по каменной зыби мостовой.

Ступив на Красную площадь, Рогов вновь убедился, что здесь метафизически трансформируются обыденные представления о времени и пространстве. Пока он стоял на месте, чудилось: до Мавзолея рукой подать, а стоило начать движение — оказалось, что надо преодолеть еще довольно приличное расстояние. Секунду назад он мысленно поторапливал очередь, нервничая при малейшей задержке, а теперь сам замешкался, непостижимым образом отстал от своей команды. Рогов растерялся («А одному-то можно?») и в нерешительности крутил головой, глядя то на удаляющиеся спины бойцов не заметившего потери отряда, то в исполнившиеся вдруг ироничным благодушием лица тех, кто уже необратимо исторг его из своих рядов. Наконец, стоявший ближе других коротко стриженный светловолосый милиционер (он напускной суровостью изо всех сил старался соответствовать значительности своей мисси, но

блестевшая в глубине васильковых глаз улыбка выдавала бесшабашную рязанскую натуру) всплеснул руками, словно отгоняя невидимую птицу, и Рогов полетел догонять ушедших.

Как заблудшая, метущаяся меж двумя мирами душа, получив отпущение, обреченно устремляется в предопределенный ей предел, так и Рогов резво рванулся вперед. Однако нелепая суетливость его действий вызвала неудовольствие и, пожалуй, даже гнев окружавшей монументальности: нахмурилось небо над Красной площадью, насупились Кремлевские башни, а здание ГУМа брезгливо поморщилось. Рогов немедленно сам себе дал укорот: «Помни, где находишься! Может, еще вприпрыжку поскачешь?» Но двигаться степенно, соблюдая в самой поступи приличествующий моменту траур, не представлялось возможным: группа, к которой Рогов был приписан, неумолимо отдалялась, ему же почему-то становилось с каждым шагом все труднее идти, словно ноябрьский ветер, резко толкая в грудь, отбрасывал его назад. Рогов на преодолении все-таки ускорился, несмотря на опаску услышать одергивающий милицейский свисток и, не почуяв за собой никакой погони, перешел на бег.

Бежать по Красной площади! Что за ошеломительное ощущение! Рогов будто попал в какой-то величественный аттракцион, в какой-то эпический кинофильм, в котором исполнял центральную роль, пока прописанную сценаристом лишь начерно, но, безусловно, героическую — не то браво перепоясанного пулеметными лентами революционного матроса, не то красногвардейца, бегущего с винтовкой в руке, чтобы выбить из Кремля засевших там юнкеров. И, похоже, сценарий предполагал, что главного героя смертельно ранили в том бою, и, вроде бы, похоронили у Кремлевской стены; даже траурный митинг мелькнул перед Роговым, но общим планом, несколькими кадрами, так что нельзя было определить, кто перед недвижимым строем сподвижников произносил пламенное надгробное слово: товарищ Подвойский или товарищ Подбельский... Словом, Рогов выпал из реальности, полностью погрузился в мужественно-романтические мечтания и долго еще пребывал бы в мире грез, если бы с разбегу не наткнулся на чью-то спину.

Очнувшись, Рогов обнаружил себя у самых ступеней Мавзолея. До цели его паломничества оставалось всего несколько шагов. Через минуту должно было свершиться то, чего он так страстно жаждал, к чему так долго готовился. Но, против ожидания, нового всплеска эмоций не последовало. Рогов не возликовал, а, наоборот, впал в оцепенение. Испытавший столько треволнений за короткий срок, измученный всем пережитым, наш политический пилигрим больше не в состоянии был реагировать на происходящее: мозг отказывался воспринимать, а душа — сопереживать. Рогов почувствовал, как по щекам его катятся медленные соленые капли. На большее сил уже не хватило.

Словно повинувшись чьей-то чужой воле, Рогов вслед за другими поднялся по ступеням, прошел мимо недвижимого почетного караула — золотые пуговицы на шинелях тускло блеснули сквозь проступившие слезы... Показалось, что и внутри Мавзолея повсюду окаменели солдаты. Или это лишь привиделось?.. В траурном тумане, заполнившем главный зал, Рогов ничего не смог разглядеть как следует: мешали влажные осколки черных бриллиантов, подрагивавшие в зрачках. Хрусталь и золото отделки саркофага на мгновение ярко вспыхнули перед глазами и тут же, преломившись в радужных шариках, повисших на ресницах, расплылись, прежде чем Рогов успел подробно рассмотреть открытый гроб, поразивший компактностью. Затяжные взмахи слипавшихся век не давали запечатлеть в памяти целостный облик лежавшего в гробу вождя, око выхватило из темноты лишь две детали: галстук в горошек да медные волосы покойника... А потом неостановимая очередь вынесла Рогова на белый свет...

Покидающие траурный зал люди напоминали зрителей, выходящих наружу из кинотеатра после дневного сеанса. Они близоруко щурились, часто моргали, неволь-

но закрывались ладонями от неярких, но всепроникающих солнечных лучей. Не у одного только Рогова слезились глаза, но, пожалуй, он единственный во всей этой случайно возникшей и недолго просуществовавшей общности, секунду назад монолитной, а теперь стремительно распадающейся на чужеродные друг другу человеческие атомы, плакал открыто, не стесняясь, не скрывая этого.

Рогов почти рыдал, пока они все вместе шли вдоль Кремлевской стены. И оказавшись один в шумливой, разноязыкой толпе на Красной площади, он по-прежнему не мог сдержаться, хотя и ловил на себе недоуменные взгляды беспечных туристов. И даже дойдя до метро, даже спустившись в него, Рогов не утирал глаза, из которых все еще сбегали временами крупные капли. Горделивая апатия овладела им: «Пусть все видят. Пусть... Может, кто и догадается, поймет... Да-да, это правильно. Пусть видят!»

Возвратившись из поездки в столицу, Рогов долго тосковал: ему не хватало мощных московских впечатлений — и восторга, пережитого им на Красной площади, и экзотических слез у Мавзолея. Но вот однажды, бесцельно слоняясь по вечерним улицам родного города, Рогов оказался на главной площади рядом с памятником Ленину и вдруг поймал на себе живой взгляд статуи... То ли освещение в этот поздний час было особым, то ли в чем-то другое дело, только Рогова вновь пронзило уже забывавшееся ощущение кровной, нерасторжимой связи с величием коммунистической идеи и советского государства.

С тех пор зародился у Рогова особый, можно сказать, секретный ритуал. Когда на сердце делалось тоскливо и пусто, он приходил на площадь (попозже, чтобы не сновали вокруг праздные зеваки) и занимал на ней одному ему известную позицию. Если застыть здесь в самочинном почетном карауле на достаточно продолжительное время (до тех пор, пока не начнешь растворяться в навевающей ощущение абсолютной покинутости пустоте пространства, как кусок рафинаду растворяется в стакане крепкого чая), то уловишь, что вождь своим каменным оком различает тебя. Гранитный зрак Ленина внезапно вздрагивал и медленно фокусировался на оцепеневшем у его ног человеке, а Рогов стоял ни жив ни мертв, боясь, как бы статуя не испепелила его молнией, трепетавшей на циклопических веках, вытесанных из благородной горной породы. Исходившая от памятника угроза воспринималась настолько реальной, что Рогов явственно слышал потрескивание высоковольтных разрядов, а иногда даже видел искры, мелькавшие над полутемной площадью. Да, страх был велик, но и без периодического предстояния пред монументальным ликом вождя Рогову уже не удавалось успокоить нервы и ощутить себя полноценным членом общества. Раз в неделю-другую необходимо было явиться к постаменту, исполнить тихонечко, только себе под нос, песню революционного содержания, вспомнить хорошее стихотворение: «Товарищ Ленин! Я вам докладываю не по совести, а по душе...» Или как там?..

Но дороже всего Рогову было личное общение с кумиром. Дома имелась заветная пластинка с записью голоса Ильича, которая в иные минуты бережно возлагалась на диск старенького проигрывателя, чтобы воспроизвести живое слово вождя. И вот Рогов придумал такую... игру что ли... Нечто вроде гадания по книге: включив пластинку, максимально убавлял громкость и задавал самый насущный для себя вопрос, после чего, резко крутанув рукоятку регулятора, моментально врубал звук, чтобы внимать ответу. Так теплилось чудо непосредственной беседы с Лениным. Пусть из-за плохого качества фонограммы не все сказанное им можно было разобрать, пусть не всегда удавалось правильно интерпретировать пророчество. Не это было главным. Важнее, что сам строй ленинской речи, заключенные в ней обаяние и энергия вливались прямо в сердце, заряжая революционным задором.

Вообще, Рогов прилежно изучал бесценное наследие Владимира Ильича, которое стараниями советских ученых было систематизировано, откомментировано, опубликовано и вот даже переведено в формат фонохрестоматии. Серьезным под-

спорьем в овладении политграмотой стало бы для Рогова полное собрание сочинений вождя, состоявшее из 55 томов в синих кожаных переплетах с красивым золотым тиснением и выпуклым профилем автора на обложке. Но о таком роскошном издании рядовому коммунисту оставалось только мечтать, ибо предназначалось оно не для частных лиц, а для ленинских комнат, библиотек и кабинетов ответственных работников, в которых, правда, великолепный многотомник стоял невостребованным, превращаясь со временем в пыльный и абсолютно бесполезный декор. Рогову же приходилось довольствоваться разрозненными и разноформатными книжечками под тоненькими бумажными обложками. Впрочем, его это обстоятельство ничуть не коробило. Демократичные по цене и оформлению брошюры располагали к активной работе над произведениями классика, что невозможно без многочисленных закладок, подчеркиваний и значков на полях, а испещрять ими плотную, шероховатую (на ней бы деньги печатать!) бумагу знаменитого «ПСС» рука не поднялась бы.

Однако даже при помощи системы продуманных помет постижение основ ленинизма давалось Рогову нелегко. Тексты, которые следовало бы считать образцами гармоничного единства формы и содержания, при чтении почему-то рассыпались на разрозненные фрагменты, абзацы, предложения, абсолютно не соответствовавшие понятию «первоисточник», ибо воспринимались они как нечто вторичное, отзывались эхом давно знакомых цитат. Рогов не мог не согласиться с тем, что цитаты важны, что одна ленинская фраза легко обнажает корень любой проблемы, и в то же время постоянное автотранслирование идейного наследия вождя удовлетворения никак не вызывало.

Само собой разумеется, на шестьдесят шестом году революции давно уже было выработано эталонное понимание сути учения. Сотрудники Института марксизма-ленинизма, составляя комментарии для многочисленных изданий, пропагандисты идеологического отдела ЦК КПСС, готовя тезисы отчетного доклада на ближайшем съезде, действующие политики, размышляя о своих державных трудах,— все они опирались на выверенную и безошибочную трактовку гениальной теории. Даже если возникала необходимость (а в советской истории она возникала часто) существенно скорректировать интерпретацию заветов Ильича, в тесном кругу обитателей коммунистического Олимпа это не вызывало ни затруднений, ни замешательства. Под руками опытных жрецов ленинское наследие кардинально преображалось, чудесным образом оставаясь целостным и ясным, более того, сверкало новыми гранями, в очередной раз доказывая всему прогрессивному человечеству свою неисчерпаемость.

Такая удивительная метаморфоза одновременно и восхищала, и обескураживала Рогова. Ему страстно хотелось разгадать секрет виртуозного идеологического фокуса, однако все попытки оказывались тщетными. Несмотря на въедливое, придирчивое, доводившее до исступления перебирание испестренных пометками брошюр, Рогову никак не удавалось текстами «первоисточников» подтвердить закономерность очередных колебаний линии партии, отыскать в трудах Ленина прямое и недвусмысленное обоснование изощренным извивам новейшей государственной политики.

А вот агитпроп, аргументируя необходимость нововведений, постоянно и громко-гласно ссылаясь на классика, укореняя в обществе образ вождя-провидца, не знавшего сомнений и промахов. Рогов старался, можно сказать, заставлял себя полюбить Ленина таким, каким предписано было его любить правоверным коммунистам. Безуспешно! Рогову, который как никто другой (до мистических видений) прочувствовал монументальную громадность основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, всегда казалось, что восхищения в большей степени достоин не памятник, а реальный исторический деятель, пусть даже иногда допускавший просчеты, но теплотворный. Великий, но именно живой человек был ближе, дороже, роднее.

В одномерном, плоском, как картонка, официально «залитованном» идеале Рогову не хватало, например, ленинского юмора. То, что Ленин не чуждался комического,

стало для Рогова открытием сколь неожиданным, столь и ошеломляющим. Некогда, впервые распознав в каком-то абзаце веселую подоплеку, Рогов отказывался поверить в справедливость своей догадки: «Не может быть! Бред! Памятники не умеют шутить!» Но чем больше читал, тем вернее убеждался: при всей глубине и глобальности рассуждений в сочинениях Ленина неизменно сквозил хороший человеческий юмор. И не только как средство сатиры на политических противников, но и как несколько парадоксальный способ мышления выдающегося философа. Новый штрих к портрету кумира наполнил содержательной глубиной знаменитую улыбку Ильича, сделал его образ еще милей. С какой радостью обнаруживал теперь Рогов рассыпанные по страницам глубокомысленных работ искры высокого смеха, с каким удовольствием примечал в серьезных трудах то умную язвительность, то острое словцо. Наткнувшись на такое место в тексте, Рогов на несколько секунд отрывался от книжки, с радостным восхищением восклицал про себя: «Гений! Гений!» И потом с новым приливом энтузиазма вновь принимался за чтение.

Но в целом Рогов был собой недоволен: восприятие статей Владимира Ильича оставалось фрагментарным, внутренне непротиворечивая картина учения в голове так и не сложилась. Рогов сердился на себя, за то, что никак не ухватит сердцевину, зерно ленинизма. Он опасался, что скоро сломается, пошлет всю политику к такой-то матери, сорвется в запой. Но усилием воли брал себя в руки, снова и снова вгрызался в книги, конспектировал кое-что — опять безрезультатно. Приходилось все-таки довольствоваться цитатами: «Учиться, учиться и еще раз учиться», «Если я знаю мало, то добьюсь того, чтобы знать больше». Простые, лаконичные формулировки. Обнадеживающие.

«Кругозор узок!» — к такому выводу приходил Рогов и брался за Маркса с Энгельсом, но там вообще мало что понимал. «Подготовочка слабовата!» — резюмировал Рогов и обращался к чтению работ великого продолжателя дела Ленина Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. Снова неудача: каждое отдельное предложение ясно — общий смысл не воспринимается. Целостно усвоить удалось только «Малую Землю», «Возрождение» да «Целину».

Стремясь во что бы то ни стало получить надежный идейный маяк, сверить направление своих умственных блужданий с курсом, пролагаемым партией, Рогов обращался за помощью к парторгу стройки, на которой работал. Но руководитель первичной парторганизации, задержанный текучкой до такой степени, что и побриться-то не всегда имел возможность, крайне неохотно общался с Роговым на общеполитические темы, чаще отмахивался, смотрел мутным неприязненным взглядом.

— Слушай, а ты как понял «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме»? — спрашивал Рогов парторга.

— Как написано, так и понял, — отвечал парторг, резко мрачней лицом при одном только приближении пытливого однопартийца. — Там же все ясно написано. Мне сейчас некогда, на третий участок сходить надо.

Но Рогов был настойчив:

— Слушай, а вот «политическое завещание»... Там «Как нам реорганизовать Рабкрин»...

— А ты взносы уплатил? — без надежды перебивал парторг. Он знал, что Рогов уплатил.

Когда же во время одной из таких мучительных для обоих собеседников встреч Рогов спросил, каково мнение парторга о «Материализме и эмпириокритицизме», то был нецензурно обруган и через неделю оказался записанным в слушатели Народного университета марксизма-ленинизма.

Приходя по выходным дням на занятия, переступая порог старинного особняка, в котором расположился областной Дом политического просвещения, закрывая за собой тяжеленную дубовую дверь, казалось, воплощавшую своим медлительным хо-

дом солидность и респектабельность, Рогов с наслаждением окунался в атмосферу, прямо противоположную угрюмой грубости, царившей в родной «первичке». Лощеные инструкторы обкома партии, вальяжные сотрудники Дома политпросвета, выступавшие перед разномастной аудиторией с обстоятельными лекциями, неизменно начинали словами «Уважаемые товарищи!», вели себя подчеркнуто корректно, пожалуй, даже с чуть наигранной вежливостью.

Сидя на обтянутом дерматином стуле, украшенном старомодными медными обойными гвоздиками, и растворяясь в присущей профессиональным пропагандистам выпренности, которая, несомненно, была признаком безошибочного, непреложного знания, Рогов просто млеял от удовольствия. Но блаженствовал он лишь на нескольких вступительных занятиях. Когда же схлынули прозелитские восторги, стало очевидно, что лекторы больше напирали на современное международное положение. Текущий момент Рогов понимал правильно: и империализм надо скорее победить в мирном соревновании двух систем, и развивающиеся страны поддержать, и социалистический лагерь укрепить... Никаких сомнений в этом быть не могло. Вопросы у Рогова вызывали отдельные нюансы истории партии, а вот на такие вопросы ответственные товарищи отвечали расплывчато, к «первоисточникам» обращались неохотно.

Рогов, вечно навязывавший лекторам дискуссии, даже получил резкий отпор со стороны куратора группы, в которой обучался. Когда в этом качестве слушателям Народного университета впервые представили статную сорокалетнюю женщину с красивым начесом на шиньоне и хорошо поставленным голосом, Рогов ощутил тот же восторг, который вызывали в нем и массивная дверь, и надежные стулья, и парадная чугунная лестница Дома политпросвета. Однако по отношению к наставнице новоявленный студизус испытывал не только уважительное преклонение, но и некоторую робость. Через неделю-другую эта мучительная смесь чувств выродилась в какое-то пылкое подбострастие. Потом в снах стали являться строгие глаза, прическа матроны с партбилетом, большая грудь, крутые бедра... Женщина словно бы вся состояла из шаров и шариков, мягких, но упругих. Хотелось в них закопаться, почувствовать себя ребенком, играющим с мячиками... Словом, приходилось признать, что Рогов влюбился в свою метрессу. Чувство обострялось заведомой безответностью и безнадежностью, ведь преподавательница разговаривала с ним исключительно деловито, а смотрела всегда сверху вниз (не только потому, что Рогов был невелик ростом, но и в фигуральном смысле). Ни о каких отношениях и речи быть не могло. Рогов это отчетливо понимал, но все-таки старался понравиться даме сердца.

И поначалу это удавалось, она даже ставила Рогова в пример остальным слушателям, которые с явной неохотой отбывали школьную повинность, чаще сидели за пивом в роскошном политпросветовском буфете, чем в аудиториях. Таких нерадивых подопечных гранд-дама наставляла: «Смотрите, как товарищ Рогов активно участвует в работе. Всегда поднимает руку, высказывается!» Однако на третьем месяце занятий после очередного Роговского наивно-заковыристого вопроса она взорвалась: «Вы что, товарищ Рогов, издеваетесь надо мной? Я же вам все, буквально, объяснила! Вы что, хотите извратить учение великого Ленина?!» Приводившим в трепет глубоким грудным голосом, которым в мечтаниях Рогова звали в постель, наяву его поносили, прилюдно и чудовищно несправедливо обвиняли в предательстве! Рогов был просто оглоушен незаслуженной инвективой, словно огромная бронзовая люстра в лектории вырвала покрытую лепниной потолочную розетку и шмякнула его по темени. В полубморке Рогов пролепетал, что хочет не извратить, а разобраться... В ответ раздалось: «Это с вами надо разобраться, почему вы планомерно срываете процесс коммунистического воспитания рабочего класса!» Больше Рогов кураторше вопросов не задавал, а почтительная влюбленность с того дня обратилась в свою противоположность — безразличие с оттенком цинизма.

Другой, не менее драматичный, инцидент привел к безжалостному изгнанию Рогова из политпросветовских кушей. Один из лекторов, пожилой уже человек с густыми волнистыми сединами, за которыми отчетливо угадывалась прежние смоляные вихры энтузиаста тридцатых годов, был Рогову особенно симпатичен. Привлекали в нем благожелательность, улыбочность, искренний интерес к собеседнику, светившийся во взгляде. Его похожие на блестящие маслины глаза излучали веселый задор, который в дни комсомольской юности вспыхнул в неискушенном сердце романтика, но с годами не погас, а перерос в осознанную мировоззренческую позицию, основанную на историческом опыте и житейской мудрости. Верилось, что вот этот-то человек, ставший свидетелем великих свершений и великих битв, многое переживший и передумавший, досконально разъяснит все недомолвки, разрешит все терзающие сомнения, чтобы можно было, наконец, без оглядки приникнуть к живительному источнику ленинской мысли, напитаться ею и преисполниться сил для продолжения дела революции.

Жаль только, в расписании занятий лекция этого чудесного старика никак не появлялась. Впрочем, даже случайно встретить его в коридоре было радостью. Едва завидев любимого преподавателя, Рогов издали кричал «Здравствуйте!», а тот в ответ ласково улыбался, отчего удивительные его глаза почти растворялись среди моря благодушных морщинок, и, подойдя поближе, степенно кивал головой. Рогов воспринимал такие взаимные приветствия как установившийся с молчаливого обоюдного согласия ритуал: заранее расплываясь в дружелюбно-глуповатой ухмылке, он каждый раз зычно оглашал стены Дома политпросвета своим «Здравствуйте!», непременно получая вознаграждение в виде благожелательного полупоклона. Это приносило давно забытое детское удовольствие. Когда-то первоклашками вот так же здоровались с учительницей, предчувствуя, что сейчас ответят, и одновременно боясь, чтобы не забыли, как тебя зовут, ответили именно тебе, а если произносилось твое имя, от переполнявших чувств хотелось пройтись колесом или зашвырнуть портфель прямо на небо... Рогову казалось, что и старик, чувствуя восторженную преданность своего слушателя, относится к нему особенно приветливо, почти по-родственному.

Наконец, настал день, когда они раскланялись не в коридоре, а при входе в учебный кабинет. Растянувший рот до ушей Рогов, пропуская преподавателя, застыл в дверях, как сознательный балтийский матрос на часах у штаба революции. Выразительное и подвижное лицо старика излучало всегдашнюю благосклонность: «Ах, вот где учится этот добропорядочный молодой человек! Очень, очень приятно!» Лектор чинно подошел к кафедре, весело оглядел аудиторию, словно солнышком всех согревая, и приступил к священнодействию, воззвав торжественно: «Товарищи!» В устах его это казенное обращение обрело вдруг задушевность; понималось, что здесь собрались и впрямь товарищи: единомышленники, проникнутые взаимным расположением, люди, делающие общее дело...

Кончив, старик предложил: «Задавайте вопросы, товарищи!» Рогов и задал. Потом еще и еще. Он строчил вопросами, как пулеметчик на тачанке, торопился, перескакивал с одного на другое. Рогов понимал, что высказывается сумбурно, но готов был показаться смешным, лишь бы знакомый преподаватель оценил его эрудицию, подкованность в историческом плане и (главное!) равнодушие к сути разговора. Роговские вопросы начинались так: «Почему Сталин?..», «Где был Троцкий?..», «Как мог Бухарин?..» После каждого такого зачина лектор все больше мрачнел, а вскоре и вовсе затосковал. Сначала он отвечал Рогову пасмурно как-то, натужно, но отвечал. Когда же речь зашла о Зиновьеве и Каменеве, лицо старика исказилось судорогой, он затряс головой, отчего прядь седых его волос косо легла на лоб и глаза, рассекла лицо серым сабельным клинком. Лектор напряженно ощерился, обнажив стальные зубы. Сразу стало понятно, что в глазах его не благодушие и не мудрость — давний, насто-

явшийся страх. Старик вытянул руку, указывая на Рогова, и чуть согнутый указательный палец его слегка подрагивал. В аудитории зависла предрасстрельная тишина, а через мгновение тонкий дребезжащий старческий голос выстрелил: «Провокатор!»

Рогов навсегда запечатлел в памяти этот момент. Перекошенное лицо ветерана компартии с упавшими на глаза волосами, вытянутая рука, «Провокатор!», десятки недоуменных глаз будущих просвещенных марксистов-ленинцев... Вскоре Рогова отчислили из Народного университета. Более того, были, видимо, приняты еще какие-то негласные решения, поскольку парторг на стройке при встрече с Роговым свежельно багровел и настолько злобно вращал глазами, что подвергнутый остракизму несчастливец уже не решался, как бывало, подойти к нему за разъяснениями.

Рогов оказался полностью отлучен от идеологической работы. Ему, как он ни уговаривал прораба, не доверяли даже проведение политинформаций в родной бригаде. Только самоотверженный труд и искусство дали возможность справиться с эмоциями, пережить незаслуженную обиду. С самого утра и до конца рабочего дня (иногда без обеденного перерыва) Рогов ударно гнал кладку, повторяя в уме тексты любимых песен. Орудя мастерком, он задавал себе ритм лирическими строчками:

*Юношу стального поколенья
Похоронят посреди дорог,
Чтоб в Москве еще живущий Ленин
На него рассчитывать не мог...*

Рогову казалось, что он и есть тот юноша в буденовке, тот стальной боец революции, которого похоронили «посреди дорог» («На перекрестке что ли его схоронили? Чего, прямо на дороге закопали? Не совсем понятно... Наверное, все ж таки на обочине. У развилки, где богатыри в сказках на камне читали...»). Да. Так вот, похоронили орла-красноармейца, и пусть теперь без него обходится стоящий у руля страны Ленин («В Москве еще живущий... Это, то есть, после переезда советского правительства из Петрограда в Москву, но до отъезда Ленина из Москвы в Горки на лечение... Или: пока еще живущий Ленин, находясь в Москве, пусть на него не рассчитывают?... Короче, в Москве пусть на него не рассчитывают...»). Вот и на Рогова руководители партии и правительства больше уже рассчитывать не могли. А жаль! Ведь Рогов много пользы принес бы... Тяжело было на душе. Ладно бы, если б его замучил какой-нибудь озверевший «беляк» из контрразведки. Нет. Свои же товарищи уделали. Те, кого Рогов считал соратниками...

Рогов находился на грани нервного срыва, и только талант и работоспособность деятелей советского искусства помогали оставаться убежденным коммунистом. Чудесные часы проводил Рогов, когда по радио или по телику передавали постановки о революции и гражданской войне. Поэтизация классовой борьбы, героика боев за лучшую долю народа неизменно волновала и убеждала в необходимости «плыть в революцию дальше». Рогов жалел лишь о том, что поздно родился, не стал красным кавалеристом, о котором поведали бы миру былинные речистые. Сейчас-то, в эпоху развитого социализма, уже не с кем сражаться (в том смысле, что врагов всех истребили; но и в том смысле, что краснозвездной братвы не осталось, не найти во всей многомиллионной стране даже сотни бойцов, которая поскакала бы на разведку в поля)...

После катастрофы в университете марксизма-ленинизма Рогову стали сниться мутные черно-белые сны, срежиссированные, похоже, Эйзенштейном в сотворчестве с братьями Васильевыми. Виделось Рогову, будто бы он в траншее перед решающей битвой, а вокруг неразличимые, как это бывает во сне, персонажи, которые, тем не менее, близки и дороги Рогову. Он не разбирал ни лиц, ни фигур товарищей, но твердо знал, что они рядом, что это НАШИ. А с фронта на их позиции катятся бесчисленные волны психических атак каппелевцев, мечтающих попрыгать великую справедливость, сделать народ вновь угнетенным. Но навстречу ошестившимся штыками цепям бе-

лобандитов поднимается из траншеи Рогов с красным знаменем в руках. Одними только революционными песнями, насупленными бровями и несгибаемой волей партия отбивает он атаку за атакой. Пред грозным ликом Рогова мешаются ряды наступающих, рассеиваются и бегут враги. Торжествуя оглядывает Рогов поле сражения и вдруг понимает, что победа призрачна, ибо далась ценой одиночества: нет вокруг никого из НАШИХ. Рогов остался один, а значит — иссякла былинная сила. Почувяв его замешательство, супостаты с ликующими криками вновь набросились на богатыря, стеснили его блестящими острями штыков. Внезапно Рогов оказывается вознесенным на каменистый утес, возвышающийся над темными водами; Рогов чувствует путы на связанных за спиной руках, ощущает тяжесть неизвестно откуда взявшегося на шее камня, прихваченного грубыми веревками. Угрожающе поблескивающие кончики штыков тычут в лицо, Рогов невольно отступает к обрыву и, нависнув над ним, срывается в пропасть, но не погружается в пучину, а оборачивается почему-то младенцем в ходуном ходящей коляске, несущейся вниз по нескончаемым ступенькам; все вниз и вниз, в самый ад...

От этой inferнальной тряски Рогов и просыпался, просыпался с единственной мыслью: «Что за чушь!» В предзвездной серости он, разбитый, больной, долго не вставал с кровати, не имея сил освободиться от парализующей волю апатии. «Кому? Для чего *все это* нужно?» — в голову лезли вопросы, отвечать на которые предельно откровенно, с большевистской честностью и прямоотой не то чтобы не хотелось, а было попросту страшно, поскольку, под «*всем этим*» в данном случае подразумевались не только бред отлетавшего сновидения или передраги в личной судьбе, но и важнейшее — основы советского строя. Мучимый тяжким экзистенциальным похмельем, Рогов с трудом подавлял желание выбросить в мусорное ведро политпросветские брошюры; в душе поселялось искушение послать к черту никем не разделяемые, но хранимые с упорством монаха-отшельника убеждения; хотелось запросто выйти во двор, посудачить со старушками у подъезда, перекинуться веселыми приветствиями с соседями, спешащими на работу, напутствовать шагающих в школу детей... Чтобы преодолеть приступ этой обывательской слабости, требовалось завести пластинку с голосом Владимира Ильича; возвращали присутствие духа также и жизнеутверждающие выпуски новостей, звучавшие по радио, пока Рогов завтракал. Только после такой идеологической инъекции он настраивался на приближающийся победу коммунизма ударный труд и отправлялся на стройку.

Шли месяцы, а Рогов по-прежнему болезненно переживал свою полную отставку от политики. Он упорно старался докопаться до истинных причин обструкции, устроенной ему в Народном университете, скрупулезно анализировал детали произошедшего, и со временем окончательно убедился в том, что единственная его вина состояла в стремлении на равных беседовать со жрецами идеологии, в желании самочинно ворваться в круг посвященных. Рогов в глубине души даже соглашался с тем, что не имел на это полного права. Возможно, разрешение на допуск в святая святых ему только еще надо было бы заслужить каким-нибудь подвигом либо послушанием. Но следовало ли наказывать за романтический энтузиазм с такой жестокостью, как это произошло в данном случае? Следовало ли превращать восторженного, готового на жертвенность союзника в стороннего наблюдателя, если не во врага? Следовало ли отлучать от животворной идеологии представителя класса-гегемона, именем коего, между прочим, и свершалось грандиозное дело социально-исторического преобразования человечества?

Постепенно горькие сетования на нечувствительность политпросветчиков уступили место изумлению на грани негодования: насколько же надо быть ограниченным, чтобы рубить сук, на котором сидишь?! Как можно объявить себя наследниками несметного богатства, кладези мудрости и столь бездарно распорядиться доставшимся сокрови-

шем? Это все равно, как если бы апостолы спрятали от христиан Библию и, вместо того чтобы обращать людей в свою веру, основывать Церковь, предались бы бесконечным беседам, убеждая друг друга в верности учения.

На следующем этапе нездоровой рефлексии по поводу изгнания из храма марксизма-ленинизма Рогова вдруг осенило: а что если дело не в узколобости, не в душевной черствости, а в злом умысле? Ну, конечно! В доме партийной пропаганды засели враги революции! Да-да! Самые что ни на есть настоящие предатели, неведомо каким образом сохранившиеся в ВКП(б)-КПСС после всех чисток, оппортунисты, стремящиеся оторвать пролетариат от теории классовой борьбы. Стало абсолютно понятно, что Рогов остался единственным и последним верным ленинцем. Теперь только на него была надежда, только ему дано открыть всю мощь мысли Ильича и в новых исторических условиях по-новому, творчески применить на практике великие прозрения классика.

Но как действовать в сложившейся обстановке? Как найти и организовать единомышленников, без которых никогда не раскрыть сокровенную тайну ленинизма? Даже в родную первичку хода нету, не говоря уже о доступе к партийной печати...

Многое передумав, Рогов открыл для себя принцип... Как бы это сказать?.. Принцип прямого воздействия. Необходимо отказаться от такого громоздкого передаточного механизма, каковым является погрязший в комчванстве партийный аппарат, и перейти к непосредственному обсуждению с товарищами ключевых вопросов политической жизни. Именно через неформальную работу легче всего будет выполнить миссию, к которой Рогов призван самой судьбой: зажечь народ энтузиазмом, сплотить и возглавить массы и продолжить революцию «снизу».

Чая скорых кардинальных преобразований, Рогов как истый большевик решил начать с самого себя, со своего трудового коллектива. Вот здесь-то, на стройке, поймут, поддержат, доверятся. А проблем сколько! О них только и говорят рабочие! Возьмем хотя бы недобросовестность в труде, ставшую притчей во языцех. Чтобы с собственным разгильдяйством бороться, никто посторонний не нужен — ни парторг, ни прораб. Сами же и исправим!

Руководствуясь классовым чутьем, но нарушая, конечно, при этом принцип демократического централизма, Рогов без согласований с кем-либо возложил на себя обязанности председателя и единственного пока члена негласной комиссии рабочего контроля. Зная о том, что на его строительном участке со дня на день будет введен в эксплуатацию жилой дом, Рогов явился туда, опередив госприемку, и приступил к инспектированию. В первой же квартире обнаружили явные недоделки: двери совершенно не были подогнаны — кое-где не закрывались, а в других местах кособочились, оставляя гигантские щели. Рогов разыскал в соседней квартире отделочников и обратился к ним прямо: «Товарищи! На этой жилплощади будет жить наш, советский человек. Возможно — рабочий, как вы и я. Но и в любом случае, даже если сюда вселится интеллигент, согласно моральному кодексу строителей коммунизма, человек человеку друг, товарищ и брат. А своему брату вы такие двери не навесили бы. Короче: вы допустили брак в работе. За свой счет переделайте двери и устраните недостатки в порядке пролетарской сознательности». Рогов говорил твердо, даже жестко. В этот момент он представлял себя комиссаром в кожанке; через плечо — маузер в деревянной кобуре, за спиной развеивается алое полотнище с золотыми буквами: «Свобода. Равенство. Братство».

Жаль, что маузера в действительности не случилось под рукой — может, не так сильно отлупили бы Рогова работяги, вмиг вскипевшие от неслыханной наглости самозванного проверяльщика. И хорошо, что прибежали на крики женщины-штукатуры, рабобавшие этажом выше, вынули Рогова из драки, поуспокоили озверевших мужиков.

...Пока не закрыли больничный, Рогов, ужасно страдая от вынужденного бездей-

ствия, не выходил из дома. Он бесцельно слонялся по квартире, часто забредал в ванную, чтобы похлебать холодненькой водички из-под крана, и каждый раз собственное отражение в осколке зеркала, закрепленном над раковиной на случай бритья, невольно заставляло его содрогнуться. «Да, здорово тебя отделали отделочники, — невесело каламбурил Рогов. — За плохо навешенные двери таких... навешали... Ну и рожа: смотреть страшно...»

Голова побаливала, и думать ни о чем не хотелось, а обмозговать надо было очень многое, дабы уяснить, наконец, что же пошло не так... Это на Рогове лежит какое-то проклятие, постоянно мешающее добиваться намеченных результатов, или целеполагание им изначально производится ошибочно? Считать себя непутевым и никчемным человеком, конечно, крайне неприятно. Ну а предположить, что мировоззренческая платформа, на которой он неколебимо утвердился, содержит неустранимый изъян — попросту жутко. Это равнялось бы утрате смысла жизни.

Впрочем, к тому все и шло, ибо реальная жизнь раз за разом грубо, но неопровержимо доказывала, что принципы, ставшие для Рогова всеобщим мерилom, на самом деле абсолютом не являются. А вспоминая слова Маркса о том, что практика — лучший критерий истины, Рогов понимал, что оказался в какой-то логической ловушке, выбраться из которой никак не удавалось из-за частых головокружений.

Черепная коробка гудела, словно уставшая трансформаторная будка у высоковольтной ЛЭП, и, чтобы не допустить замыкания, Рогов вырубил на хрен причинно-следственную схему, доведившую его до иступления постоянными сбоями, и доверился интуиции. Тогда во внезапно наступившей расслабляющей интеллектуальной тишине вдруг с наглядностью букваря открылось, что все столь болезненные для правоверного коммуниста искажения учения связаны с трагическим несовершенством мира и, прежде всего, человеческой натуры.

Классики рассчитывали на сознательность пролетариата, а у большинства этой сознательности хватает лишь на час-два, пока сидят на партсобрании. Для окончательной победы от марксиста требуются самоотверженность и самодисциплина, но мало кто из наших изнеженных современников может похвастаться вышеозначенными качествами. Чтобы добиться великих свершений, нужно дать небывалый простор историческому творчеству масс, но, похоже, творчество массовым не бывает, оставаясь уделом одиночек, подобных Рогову.

Это в первые годы революции рабочий класс фонтанировал социальной импровизацией, изобретательностью, раскрепощенностью; да вот только, как ни грустно, иссякает такой фонтан в историческом масштабе просто моментально, и чем дальше от нас Великий Октябрь, тем гуще заливается источник энтузиазма.

Да и руководство партией, если уж честно говорить, несколько десятков лет назад перешло к ренегатам, не способным ни увлечь за собой, ни повести к героическим свершениям, ни вдохновить на подвиги. По-барски вальяжный, но теряющий остатки здравого смысла и членораздельность речи Брежнев, засушенный со сталинских времен, словно вобла, хранимая на случай войны, Суслов, Романов, про которого поговаривали, что привык он есть и пить из царской посуды, «и другие члены Политбюро ЦК КПСС» — разве можно всех их считать пламенными революционерами, ставящими дерзкие задачи глобального характера?!

Аппаратчики среднего звена... Те и вовсе почитают идеологическую работу едва ли не помехой, отвлекающей от бесконечной, заедающей, но насущной текучки, которая, по сути, и является их первостепенной обязанностью; в лучшем случае от теоретической базы не отмахиваются, но игнорируют, как никчемный музейный экспонат, вроде побитой молью старой буденовки на манекене, выставленном за пыльным стеклом... Аппаратчикам среднего звена доступны лишь подкованная возня да тихие номенклатурные радости.

А рыба-то гниет с головы... Вот откуда в нашем обществе все эти отвратительные приметы мельчания и перерождения большевиков: засилье бездумных начетчиков в директивных органах; безнаказанность разгильдяев и взяточников с партбилетами, засевавших повсюду, в том числе в СМУ, где работал Рогов; кумовство, вкусовщина, некомпетентность, волонтаризм... Но страшнейшая угроза социалистическому строю даже не в этом, а в том, что широкие народные массы оказались дезориентированы, настроены безразлично или даже скептически по отношению к государственной идеологии.

«Не на что, не на кого опереться,— констатировал Рогов с бесстрастностью человека, дошедшего до крайнего предела отчаяния.— Ни одного общественного или государственного института не осталось, не затронутого гниением. Все пора менять! Как в гимне партийном поется: все сломать до основания, а затем...» Парадокс: во имя спасения советской власти следовало ее разрушить.

От этих мыслей противно становилось до тошноты, причем периодически накатывавшие приступы вызваны были не столько недавними побоями, сколько тягучим ощущением безысходности. Рогов чувствовал себя беспомощным маленьким засранцем, не способным ни в теоретической подготовке, ни в конкретной работе добиться успеха. В глубине души он даже радовался тому, что из-за расплывшихся по физиономии безобразных фиолетовых кровоподтеков не мог выходить на улицу, и поэтому на какое-то время прервались вечерние свидания с каменным Лениным: с таким самоощущением предстать пред монументальным ликом вождя было решительно невозможно.

Когда же иссиня-черные гематомы сменили цвет на мертвенно-желтый, когда Рогов перестал пугаться своего отражения в зеркале, новый план спасения социалистического отечества был готов. Рогов учел все прежние ошибки. Нельзя уходить в излишнее теоретизирование, нельзя апеллировать к неподготовленной массе, нельзя действовать наскоком: слишком глубоко пустили корни в народном сознании оппортунизм и безыдейность, филистерство и цинизм. Надо проводить агитацию исподволь, по одному привлекать на свою сторону рабочих, постепенно создавать полуподпольную организацию и, опираясь на проверенных идейных соратников, противостоят ползучей контрреволюции.

Рогов начал реализовывать намеченную программу незамедлительно, сразу же после выхода на работу. Знаменитый ленинский вопрос «С чего начать?» в данном случае звучал как «С кого начать?», и первый кандидат на посвящение в орден спасителей революции был уже определен: водитель самосвала Колобанов. Тот не только трудился в одном СМУ с Роговым, но и был соседом по подъезду, то есть мог находиться под наблюдением практически постоянно. Колобанов работал неплохо, почти не пил... Рогов посчитал, что самосвальщик по всем параметрам подходит для того, чтобы распространить его в духе своих убеждений. Однако, наученный горьким опытом, Рогов решил не оглушивать простого шофера высокопарными фразами или умозрительными рассуждениями, а сперва сблизиться с ним, затронуть лучшие струны его души и только после этого сделать поборником чистоты и величия советской власти.

И вот кропотливая работа по обольщению и обращению Колобанова началась. Словно влюбленный юноша, поджидающий свою избранницу, каждое утро караулил Рогов шофера за углом соседнего дома. Боясь опоздать к выходу коллеги, Рогов всегда торопился занять свой пост, поэтому выскакивал из подъезда, продолжая дожидать завтрак. Минуты ожидания так и запомнились Рогову — по долго державшемуся во рту привкусу острой и сытной яичницы, этого дежурного холостяцкого блюда, обязательного, как услышанные за едой последние известия о введении в строй еще одной домны и о визите в Москву еще одного руководителя еще одной братской страны.

Очень скоро Рогов досконально изучил все привычки будущего сознательного пролетария, пока даже не подозревающего, каким невероятным доверием его вскоре очастливят. Колобанов сначала выпускает из парадного клуба табачного дыма и лишь затем выходит сам. На секунду задержавшись на крыльце, чтобы посмотреть на небо и прикинуть, какая погода его ждет сегодня, он делает очередную глубокую затяжку, отшвыривает в пространство горелую спичку, широкими шагами обходит палисадник, поворачивается лицом к фасаду дома (с этой точки видно окно его кухни) и машет рукой жене и детям, выглядывающим в неубранном утреннем виде из-за кокетливых шторок. Рогов, стыдливо прячущийся от Колобановских домашних, словно тайная любовница, коварно посягнувшая на их кормильца, дожидается, пока шофер скроется за дальним углом дома, и только тогда, торопливо пробежав чужим двором, нагоняет приятеля.

Водитель самосвала приветствует Рогова неизменной фразой: «Здорово, сосед!» Они пожимают друг другу руки, и начинается их совместный путь на работу. Рогову приятно идти рядом с жизнерадостным балагуром. Колобанов всегда излучает спокойную уверенность хозяина, твердо стоящего на ногах, его суждения обычно пожитейски мудры, замечания стоически остроумны. Рогов уже после нескольких бесед чутко уловил некий неоформленный пока в законченное суждение критицизм Колобанова по отношению к окружающей действительности, лишней раз убедился, что материал для пропаганды подобран благодатный. Огорчало только то, что Колобанов очень уж врос корнями в быт, не было в нем никаких философских устремлений, а, напротив, развито апатичное равнодушие к теоретизированию. Колобанов даже не задумывался о том, чтобы соотнести свою жизнь с какой бы то ни было схемой. Теории и теоретики существовали в другой плоскости бытия, про которую Колобанов знать не хотел, которая была до зевоты скучна.

Зато как вдохновенно говорил он о своем садовом участке! Дача являлась для Колобанова главнейшим делом жизни, глотком свободы, местом, где он волен решать все самостоятельно. Там находилось строение («дом») и насаждения, которым Колобанов был владельцем; там на три стороны обитали соседи, с которыми приятно общаться на темы о шести сотках, а иногда — выпивать. Там стояла беседка, увитая лозами какого-то северного винограда, вокруг беседки — несколько кустов шиповника, растения не только чрезвычайно полезного, но и похожего на розовые кусты. Это был райский уголок, исчерпывающий эстетические запросы хозяина. Кроме того, дача имела большое значение в рационе питания семьи Колобановых. Жена шофера знала великое множество рецептов домашнего консервирования и добилась весомого авторитета в вопросах засолки и маринования среди женщин дачного кооператива. Сам Колобанов с удовольствием помогал супруге «закатывать банки», а во время, скажем, новогоднего застолья с гордостью почти сатанинской предлагал гостям разноцветные блестящие закуски «со своего огорода». Летом же Колобанов любил сорвать с плети огурец или яблоко с ветки да так смачно хрустнуть плодом, что казалось: трещат устои социалистической экономики.

Садовод-любитель с такими сочными подробностями рассказывал о своем увлечении, с таким напором, с такой непоколебимой уверенностью в безусловной важности для всех окружающих каждой мелочи, касающейся его дачки, что Рогов, первоначально брезгливо вникавший в садово-огородную тематику (частнособственническая отрыжка!), в какой-то момент стал замечать, что происходящее на Колобановском участке ему небезразлично. Рогов с неожиданным для самого себя интересом воспринял массу абсолютно не нужных ему сведений о саженцах, опылении, окулировке, подкормке и черт знает о чем еще, с изумлением узнал, что навозные кучи имеют исключительную ценность, и вместе с новым приятелем ломал голову над тем, как бы поскорее заменить несколько секций забора, обозначающего священные

границы Колобановской вотчины. И что странно: ни на одной из этих ежедневных бесед во время совместных походов на работу Рогов в течение нескольких месяцев ни разу не завел речь о самом важном, о том, ради чего, собственно, решил сблизиться с Колобановым.

На первых свиданиях казалось, что еще рано, надо попривыкнуть к малознакомому человеку, да и его приручить к себе; а потом почему-то стало стыдно прерывать смачные, обильно удобренные матерком, ветвящиеся многочисленными деталями монологи Колобанова своими анемичными репликами. Слушая опытного огородника, Рогов будто бы зарывался в жирную, злачную почву, изобиловавшую диковинными корешками и палочками, невиданными червячками и жучками, причудливыми россыпями песочка и глинки. Все это представляло собой странный мир, неведомый прежде Рогову и притягивавший таинственной прихотливостью. Против ожидания, Рогов не испытал при своем идеологическом погребении ни страха, ни отвращения, наоборот, ощущал противоестественный уют того места, где ему давно следовало обраться.

Весьма вероятно, что со временем энергичный Колобанов и впрямь завалил бы Роговские замыслы словесным черноземом, по запасам коего он вполне мог считаться крупным землевладельцем. Возможно, азартному дачнику удалось бы безвозвратно увлечь коллегу и соседа новым путем, путем практического действия, столь привлекательного для каждого мужчины. Однако советское искусство вновь помогло своему рекруту удержаться на верных идеологических позициях. Однажды вечером, перечитывая для души Маяковского, Рогов наткнулся на строчку: «Опутали революцию обывательщины сети...» «Да ведь это же прямо про меня поэт написал! — с раскаянием осознал Рогов. — Я же какое великое дело задумал, а сам-то, сам-то! Поддался напору мещанства, в угоду неверно понятому товариществу фактически отказался от убеждений!» Тут что-то изнутри торкнуло не успевшую затвердеть скорлупу, наросшую вокруг большевицкой душеньки за время общения с Колобановым, проклюнулась из-под треснувшей оболочки пролетарская сознательность и расправила крылья. А из осколков разбитого филистерства вытекла едкая идейная щелочь и прочистила все темные закоулки души, вытравила чужеродные новообразования беспринципности и соглашательства.

Показалось еще необходимее, еще важнее, чем это представлялось ранее, помочь Колобанову обрести верное и единственно правильное мировоззрение, ведь в личных беседах он раскрылся как отличный товарищ, прекрасный человек, которого, без всякого сомнения, стоило взять с собой «на разведку в поля». За время общения с Колобановым Рогов привык думать о нем, скорее, не как о соратнике по борьбе, а как о задушевном друге. Нельзя таить от друга ценнейшее, что есть в твоей жизни — великое и непобедимое учение Ленина.

И вот, придя к такому выводу и устыдившись былой слабыхарактерности, Рогов на следующее же утро решительно приступил к пропагандистской работе:

— Знаешь, хороший ты человек, но немного заразился вещизмом.

— Чего? — скорчил Колобанов уморительную гримасу.

— Вещищем. Статью в «Правде» читал?

— Чего? — гримаса Колобанова стала настороженно-защитной.

Рогов объяснил, как опасны для пролетария собственнические инстинкты, как легко они приводят к правому уклону, как вреден уклонизм для развития и продолжения революции, как губительны для страны те идеологические уступки, на которые отваживается ныне руководство партии ради сохранения лояльности несознательного меньшинства.

После того как позиция собеседника оказалась обозначена столь недвусмысленно, Колобанов резко оборвал разговор. За внешней неказистой простотой свойского парня обнаружилось вдруг истинное лицо Рогова, что стало крайне неприятной не-

ожиданностью, раздражало скрытой (отчего смятение лишь усиливалось) угрозой. Высказывания молчуна-притворщика вполне можно было расценить как провокацию, как попытку выведать тайные мысли соседа, а потому недавний приятель теперь представлялся коварным шпионом и доносчиком. Внезапно умолкший, обескураженный произошедшим, Колобанов всю дальнейшую дорогу ругал себя за неосмотрительность и болтливость. Не успел ли наговорить лишнего? Можно ли сказанное использовать против него, против его семьи? Эти вопросы надоедливыми мухами жужжали в голове. Потом шофер несколько успокоился: слишком откровенно выразился сам Рогов. Тут еще неизвестно, кто больше обнаружил крамольных мыслей, и кто кого потянет к ответу в случае чего.

Как бы то ни было, после того памятного разговора отношения соседей и сослуживцев стали меняться. Раньше Колобанову казалось, что он нашел в Рогове благодарного слушателя, который мало говорит, но сосредоточенно внимает, не перебивая, кивает головой, выражая тем самым искреннее сочувствие всем его дачным делам. Теперь вместо немногословного заединщика предстал снедаемый внутренним жаром спорщик, умевший о своем заветном рассказывать не менее увлеченно, чем Колобанов о грядках и парниках. Поневоле приходилось готовиться к ежедневным идеологическим диспутам, обдумывать доводы в защиту своей позиции. Делать это было неинтересно и утомительно, тем более что опыт дискуссий у Рогова был гораздо богаче, поэтому он раз за разом загонял Колобанова в интеллектуальный тупик. Однако пассивно перед тщедушным пропагандистом не годилось! Убежденный в своей правоте Колобанов, хотя не находил убедительных возражений на резоны Рогова, как умел отстаивал свое право на счастье, пропахшее удобрениями и заляпанное гумусом.

Обиднее всего казались Колобанову упреки в бескрылости и заскорузлости шестисоточных устремлений. Такие несправедливые обвинения мог высказать только человек, абсолютно не понимавший романтики садоводства и огородничества, ни разу не испытывавший счастья сопричастности к таинству цветения и плодоношения, никогда не чувствовавший, как наворачиваются на глаза слезы умиления при взгляде на пробивающиеся из земли скромные росточки редиски. Нет, вдохновенный дачник умеет чувствовать глубоко, умеет, как никто другой, сопереживать жизни природы, умеет предаваться мечтаниям, не возносясь при этом в бесплодные эмпирии абстрактного мышления. И однажды на саркастическое замечание Рогова о том, что у Колобанова, мол, даже мечты никакой не имеется, тот с гордостью ответил:

— Есть. Есть у меня мечта!

— Ну, и какая? — заинтересовался Рогов.

— Чтобы мне вместо самосвала дали бортовую машину!

— Да какая разница?! — Рогов не мог не подивиться такому несерьезному ответу, но при этом все же не терял надежды на то, что собеседник, наконец, раскроется с неожиданной и благородной стороны. А вдруг за очевидной глупостью кроется какая-то обнадеживающая тайна? Может быть, Колобанов мечтает оказаться победителем социалистического соревнования среди водителей бортовых машин? Или в голове его созрело рационализаторское предложение, которое резко повысит производительность труда, и советские шоферы утрут нос Америке?

— На самосвал что грузят? — объяснял между тем Колобанов. — Песок, бетон. А на бортовых ребята то кирпич возят, то арматуру. Это же на даче гораздо нужнее. Потом: иногда чего по дороге завезешь на дачу — с самосвала сгружать неудобно, а с бортовой быстро поскидал за забор, да и поехал дальше. Внимания меньше, никто не заложит.

«Колобанов — вор, расхититель социалистической собственности», — взорвалось в мозгу у Рогова и засело навсегда саднящей занозой. Словно пелена спала с глаз: как же это он за все время общения не разглядел отщепенца, чуждого всем нашим идеа-

лам? Не хотелось верить, что свел дружбу с преступником, что связывал с этим человеком свои чистейшие чаяния, свои высокие помыслы.

Начиная со следующего утра, никто не дежурил за углом дома, где жил Колобанов, никто не поглядывал ревниво на его домочадцев, весело махавших хозяину из кухонного окна. Опустел секретный наблюдательный пункт... Рогов перестал догонять сослуживца по дороге на стройку, но, соблюдая строжайшую конспирацию, старался выследить шофера в рабочее время. Скоро стало ясно: Колобанов действительно прихватывает часть того, что перевозит на своем грузовике.

Уныние поселилось в сердце Рогова. Он не мог простить себе политической близорукости, не мог простить Колобанову его низости. Еще сильнее терзался Рогов от того, что возникла неразрешимая этическая дилемма: как сознательный член партии он обязан был сообщить в компетентные органы о злодеяниях водителя Колобанова, а как революционер-романтик испытывал отвращение к доноситељству... И все-таки верх взяла совесть коммуниста, требовавшая оставаться принципиальным в любой ситуации, для пользы общего дела не жалеть ни себя, ни своих бывших товарищей. Придя к такому заключению, Рогов все-таки для проверки в последний раз задался вопросом: «Нужно ли доложить куда следует о хищениях Колобанова?» И ничто в душе его не дрогнуло при однозначном ответе: «Да!» Так для всех лучше будет, в том числе для Колобанова. Пусть остановит его твердая, но заботливая рука нашей милиции, пока алчность не толкнула несчастного в ряды врагов советской власти; пусть даже отбудет наказание, но не погибнет для общества окончательно. Рогов не стал бы поднимать шум, если бы украли что-то лично у него, однако дело касается общенародного богатства. За народ, за рабочий класс Рогов пойдет на все, никого не пощадит.

Осталось неизвестным, куда и к кому обращался Рогов; никто не мог бы сказать, когда и как накрыли Колобанова. Возможно, что за его самосвалом было установлено скрытое наблюдение и прихватили голубчика тепленьким, с поличным... Возможно, была лихая погоня и силовой захват при попытке выбросить арматуру, украденную с целью укрепления забора на дачном участке. Возможно, но вряд ли. Есть ли человек, не ворующий со стройки, на которой работает? Есть ли человек, не знающий, что строители тащат со стройки все, что под руку попадется?

Верней всего, что кто-нибудь из прорабов намекнул Колобанову: «Стучат на тебя». Может быть, показал ненароком Роговское заявление, если оно существовало, конечно... На какое-то время, от греха, перевели Колобанова из водителей в разнорабочие. Ничего особенного. Обычное дело. Однако Колобанов кипел возмущением, ведь его предали самым подлым образом. Даже если доподлинно не знал разжалованный шофер, кто сообщил начальству о его таком привычном, можно сказать, невинном воровстве, рассчитать, догадаться, что это был Рогов, разумеется, оказалось несложно. Колобанов люто возненавидел Рогова и каждому встречному-поперечному рассказывал о своем праведном гневе.

Рогов видел, как вокруг него постепенно возводится непреодолимая стена отчуждения. Рогов чувствовал, что для всех, от продубленных на десятках объектов бетонщиков до зеленого помощника крановщика, он стал врагом, что на многолюдной стройке оказался трагически одинок. Рогов ощущал, что превратился в человека-невидимку, которого то будто бы не замечают, то сознательно игнорируют, то с угрозами гонят.

Все это Рогов переживал крайне болезненно, но причин для столь решительного и единодушного общественного неприятия своего поступка, по совести сказать, не находил. Прав был он, а не разложившийся под влиянием круговой поруки и всепроникающей контрреволюции коллектив. По самому большому счету Рогов был прав. С горечью осознавая степень творившейся несправедливости, на крепчающем морозе абсолютного одиночества он сознательно растравлял в душе ответную ненависть к

отступникам. Не мог простить им слепой филистерской уверенности в собственной правоте и Роговской подлости. Не мог смириться со всеми их дачками и халтурками, не мог забыть им кровного интереса к шубам и гарнитурам, не мог извинить за неизбывную тоску по дефицитной колбасе и за полное равнодушие к пока еще открытой, но час за часом упускаемой возможности стать честнее, бескорыстнее, справедливее.

Два встречных потока враждебных энергий сшиблись, закрутившись в мощнейшие ментальные вихри, которые грозили полным разрушением личности. Очевидно, во имя сохранения психического здоровья Рогову следовало немедленно уходить с работы, ибо изменить сформировавшееся мнение о себе он был не в силах. И так удачно сложилось, что как раз в этот момент Рогову предложили должность мастера производственного обучения в строительном профтехучилище. И Рогов согласился. В окладе он проигрывал, но условия труда были лучше: не надо ежедневно лазить на верхотуру равнодушных отвесов кирпичных стен, не надо горбатиться целыми днями на ветру, да на холоде, да в непогоду. Но больше всего привлекла Рогова возможность общения с юношеством. На бывшего каменщика словно озарение снизошло: «Точно! С молодежью надо работать! Взрослые заросли жирком быта, накопительский инстинкт застит им глаза, они не видят важного в жизни. А люди молодые, трепетные романтические души станут нерушимым оплотом истинного ленинизма!»

Какой удар ждал новоявленного наставника молодежи! Какое чудовищное разочарование! Учащиеся ПТУ оказались гораздо тупее и равнодушнее своих отцов со стройки. «Пэтэушники» навсегда остались для Рогова воплощением циничной жестокости и глухого безразличия ко всему, что выходило за рамки их мелочных, низменных интересов, а интересы их были: импортная одежда, зарубежные музыкальные ансамбли, пьянство и курение. На первом же занятии начинающий педагог словно под дых получил. Пришел он к подросткам с открытой душой, с улыбкой на устах. Прежде чем рассказать о секретах прекрасной профессии каменщика, решил прочесть лекцию о значении стройиндустрии в системе народного хозяйства. Готовился. Делал выписки из трудов Ленина. Сам проникся, какая, оказывается, замечательная у него специальность. И ни до одного ребятенка не достучался. Их прыщавые глуповатые лица мгновенно подернулись сонным равнодушием, лишь только прозвучали слова «КПСС» и «социалистическая экономика». С задней парты кто-то ломким баском полусетал: «Во! Пошло говно по трубам!»

Вот тут-то все и кончилось. В душе Рогова что-то непоправимо оборвалось. При чем поразило его не столько незаслуженное, абсолютно беспричинное оскорбление, сколько чудовищное несоответствие между мечтаниями и реальностью. От одного слова возвышенные упования разбились вдребезги, и этого предательства, этой подлости он никогда не смог простить молодежи. Так с первого же дня повелось, что на занятиях у Рогова он был сам по себе, а учащиеся — сами по себе.



Геннадий Маркин
(г. Щекино)



СКОМКАННОЕ ПИСЬМО*

Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, член Союза писателей России.

— Не сожалей о них, Сонечка,— вновь повторила Екатерина Михайловна, когда та догнала ее.— Они нас не жалели, когда грабили и сжигали наш дом. Это они виновны в смерти твоего отца, не жалея их. Однако что же нам дальше-то делать? Неужели до самого Ефремова пешком придется идти? — задалась вопросами Екатерина Михайловна.

Софья промолчала. Основная масса людей ушла по дороге уже далеко вперед. Екатерина Михайловна, Софья, доктор и еще небольшая группа из нескольких человек от них отстали. Вскоре и эта группа, обогнав Рязановых и доктора, ушла вперед, распрощавшись, ушел и доктор, Екатерина Михайловна и Софья на дороге остались одни. Шли медленно, то и дело останавливались и отдыхали, обеим очень хотелось пить, но колодца на пути не было. Наконец, Екатерина Михайловна не выдержала и, переведа дух, опустилась прямо на придорожную пожухлую траву.

— Все, Сонечка, я больше идти не могу,— вздохнула она.

Софья и сама уже с трудом переступала ногами, а увидев, как мать присела на траву, тоже с облегчением опустилась рядом с нею. Сидели долго, обеим начало казаться, что время для них остановилось, до того момента, пока на дороге со стороны станции Бабарькино не показалась запряженная в телегу лошадь. Рязановы поднялись и с вожделием стали смотреть на повозку, надеясь доехать на ней хотя бы до ближайшей деревни. Возница — маленький и щупленький старичок — поравнявшись с ними, натянул поводья.

— Тпру-у-у! — прикрикнул он на лошадку и, улыбаясь, взглянул на Рязановых.— А что, барыни, видать затомились в пути-то? — спросил он звонким, похожим на детский, голосом.

— Затомились. Мил человек, довези нас до какой-нибудь деревни, сил больше нету идти, во рту пересохло, пить хочется, прошу тебя Христа ради, помоги,— обратилась к нему Екатерина Михайловна.

— А вы часом не с пассажирного поезда будете?

— С поезда.

— Стало быть, вы мне-то и нужны. А где же остальной люд? — спросил возница.

— Вперед ушли,— махнула рукой Екатерина Михайловна.

— А вы, стало быть, отстали?

* Главы из повести.

— Отстали,— Екатерина Михайловна кивнула головой.
— Я-то вас не только до ближайшей деревни, но и до самого Ехремова смогу до-
везть, но не бесплатно, конечно,— старичок хитро улыбнулся.
— Сколько же возьмешь с нас?
— С каждой по одной зелененькой бумажке.
— По три рубля с каждой, что ли? А сколько же отсюда верст будет до Ефремова?
— Дык в аккурат околи двадцати пяти верст будет.
— Дороговато,— вздохнула Екатерина Михайловна.
— Ну, так и быть, с вас возьму по коричневенькой, но с каждой.
— По два рубля? Может, еще немножко уступишь, мил человек?
— Дык, куды же еще уступать-то? — изумился старичок.— А ента барышня кто
ж вам будет доводиться? — спросил он, указывая на Софью.
— Дочка моя.
— Дочка, стало быть? Ну, тогда, один рубль, но с каждой,— уступил старик.—
Залазьте на телегу.

Екатерина Михайловна и Софья влезли в телегу, и старик стеганул лошадь.
Вскоре догнали основную группу людей.

— Эге-е-гей! — прикрикнул старик, размахивая вожжами.

Шедшие люди расступились, сошли с дороги, пропуская гнавшую во весь опор
лошадь, но старик натянул вожжи.

— Тпру-у-у! А ну-кась, кому до Ехремова — милости просим,— крикнул он, и
измученные от пережитого люди, начали влезать в телегу.— Все, все, хватить, а то
лошади дюже тяжело будет, хватить! — прокричал старик, увидев, как люди растал-
кивая друг друга, лезли в телегу.— Куды ты?! Куды ты лезешь-то?! Куды, я сказы-
ваю? — старик начал отталкивать влезавших в телегу людей.— Некуды, некуды бо-
ле! Но-о-о! Пошла, родехонька! — крикнул он и хлестанул лошадь.

Люди сходили с дороги, пропуская мимо себя несущуюся лошадь, кто-то махал
руками, прося остановиться и взять их с собой в дорогу, на что старик-возница, стоя
на телеге во весь рост и подстегивая лошадь, кричал: «Некуды, некуды боле!»

— А сколько возьмешь за дорогу, старик? — спросил один из мужчин, сидевших
в телеге.

— По зелененькой с каждого седока.

— Не многовато ли тебе будет?

— Нет. Я извозу обучен сызмальства, служил извозчиком в Ехремове и в ентом
деле кумекаю, что и к чему.

— А Николаевками возьмешь? — спросил кто-то.

— Эхх-хе-хе-х, Николаевками-то? — старик призадумался.— Ну, давай и Нико-
лаевками, можа, еще и вернется старая власть-то? Ежели Николаевками, то по две
копейки за версту,— сказал он.

В основном все ехали молча. От пережитого, усталости и жары разговаривать
никому не хотелось. Софья сидела сбоку телеги, свесив ноги и придерживая мать за
руку, чтобы та не свалилась. Среди седоков она увидела старика-доктора, тот сидел с
другого бока телеги и, как и в поезде, прижимал к груди свой саквояж.

— Вон он Ехремов,— возница указал кнутовищем в поле, где вдаль показались
городские постройки.— Я вас всех до станции довезу, а там ступайте, кому куда на-
доть,— улыбнулся он.

Вскоре въехали в город. Сойдя с повозки, Екатерина Михайловна с Софьей сразу
же хотели нанять извозчика до Птани, но извозчиков на привокзальной площади не
было, и они остановилась в нерешительности.

— Нет ни одного извозчика, как же мы будем добираться до Птани? Куды же нам
теперь? — начала спрашивать Софья.

— В церковь. Надо идти в церковь, судя по времени скоро должна начаться вечерняя служба, давай на нее сходим, а там будет видно, что нам делать и как поступить дальше, — вместо ответа, предложила Екатерина Михайловна Софье, и та согласилась. — Если, конечно, новая власть еще не запретила ходить людям в церковь, — добавила Екатерина Михайловна.

Еще подъезжая к Ефремову, заметила Екатерина Михайловна у реки большую каменную церковь и теперь решила идти именно туда. Нашли ее быстро и без труда, спустились по улице вниз и немного прошли вдоль реки. Церковь имела название «В честь Покрова Пресвятыя Богородицы». В церкви было тихо, сумрачно и прохладно, пахло свечным воском и лампадным маслом, прихожан еще не было. Напротив алтаря худощавая маленького роста и сутуловатая старушка протирала тряпкой подсвечник. На ее согбенной спине из-под синей кофты выпирали две острые лопатки.

— Скажите, будет ли нынче вечерняя? — спросила у нее Екатерина Михайловна.

Старушка отложила на подсвечник тряпицу и повернулась на голос Екатерины Михайловны. Взглянула на нее снизу вверх из-за своей сутулости, поправила на голове сползший на лоб светло-серый платок, завязала на нем потуже узлы и спрятала под платок седые пряди волос.

— А кто ее зная, будя она али не будя? — ответила старушка тихим старчески-скрипучим голосом. — Ныне, милая, все одним днем живем. Ден прошел, живы, и слава тебе, Господи! Вот вчерась служба была и утрешняя, и вечеришняя, а вот надья не было. Коли батюшка придет, то служба будя, а коли не придет, то и не будя.

— А можно нам здесь в церкви побыть? А то мы с дочерью с дороги очень устали.

— А почаму же нельзя-то? Вона скамейка околи свечной лавки стоять, ступайте туда, сядьте, передохните малость, коли вам тяжко, — старушка указала рукой на стоявшую у стены длинную скамейку.

Екатерина Михайловна, опираясь на руку Софьи, прошла к скамейке и, тяжело опустившись на нее, перевела дух.

— Присядь рядом, — предложила она дочери, но та продолжала стоять. — Что стоишь-то, присядь, отдохни, — вновь проговорила Екатерина Михайловна, предположив, что Софья ее не расслышала.

— Мама, мне надо ненадолго уйти.

— Как уйти? Куда? К кому тебе нужно уйти? — удивилась Екатерина Михайловна.

— Мне нужно найти одного человека.

— Какого человека? — Екатерина Михайловна непонимающе смотрела на дочь.

— Мне надо найти Скворцова Николая, брата Акимки, — отвела она взгляд в сторону.

— Зачем он тебе?

— Мне надо рассказать ему, как погиб его брат Аким.

— Нет! Нет! Я запрещаю тебе! Слышишь? Запрещаю! — приказным тоном проговорила Екатерина Михайловна.

— Ну, почему, мама?

— Ты никуда не пойдешь! — повторила Екатерина Михайловна вместо ответа. — Ты не ослушаешься меня, если ты мне дочь!

— Почему? Почему ты не разрешаешь мне? Ответь, почему?

— Я боюсь, что с тобой случится какая-нибудь беда.

— Почему, ну почему ты решила, что со мной должна случиться какая-то беда? Я что, маленький ребенок? Я — взрослый человек, — всплеснула руками Софья.

— В том-то и дело, Сонечка, что ты не маленький ребенок, а уже взрослая девушка, в том-то и дело. На улице беспокойно, идет война, ты сама видела, что про-

изошло на станции. А потом, Сонечка, пойми, тот человек, которого ты ищешь, он же — красноармеец!.. Он такой же, как и те, кто сжег наш дом и убил твоего отца! Они... они очень опасные люди! Нет, нет, я тебя никуда не пущу! Я прямо здесь в церкви лягу на твоём пути, а ты, если сможешь, то перешагивай через мать!

— Мне кажется, не сказать человеку о смерти его близкого, скрыть от него — это не по-божески! Ты же сама меня воспитывала так, чтобы я всегда и во всем помогала людям, а теперь сама запрещаешь мне это делать,— проговорила Софья.

— Сейчас наступили другие времена, страшные времена — идет война, люди ожесточились друг на друга, и лишний раз ходить по улицам города стало просто опасно,— попыталась возразить дочери Екатерина Михайловна, но Софья стояла на своем.

— А ты учила меня, что людям нужно помогать всегда, невзирая ни на какие трудности, ни на какие обстоятельства и времена. Разве ты сейчас, находясь здесь в церкви, поступаешь по-божески? Поступаешь по-человечески? — спросила Софья. Она тоже разволновалась, ее лицо пылало жаром.

Екатерина Михайловна молчала. Она понимала, что дочь права, но она боялась отпустить ее от себя в такое беспокойное время, а потому не знала, как ей нужно поступить и что нужно ответить дочери в сложившейся ситуации. Она молчала и смотрела дочери в глаза. А Софья ждала от матери понимания и ответа, а потому тоже смотрела ей в глаза, смотрела и не отводила взгляда.

— Мне Скворцову нужно передать это,— наконец-то нарушила молчание Софья и достала из-под манжеты платья скомканное письмо, развернула его и показала матери.

— Что это? — спросила Екатерина Михайловна, искоса поглядывая на бумажный лист.

— Это письмо.

— Какое письмо? — не поняла Екатерина Михайловна.

— Которое нам в поезде читал Акимка, от его брата-красноармейца, и за которое его убили.

— Господи ты боже мой! Где ты взяла это письмо? — осипшим от волнения голосом спросила Екатерина Михайловна.

— В вагоне с пола подняла, когда его скомкал и бросил на пол военный,— Софья вновь отвела взгляд в сторону.— Отпусти меня, мама, прошу тебя. Я найду Скворцова, отдам ему это письмо и тотчас же вернусь обратно.

— Так ты что, еще там, в поезде, решила встретиться с братом Акимом? Встретиться с незнакомым тебе человеком?

— Я решила встретиться с ним только для того, чтобы сообщить ему о смерти брата и вернуть написанное им письмо. Мне кажется, я поступаю правильно.

— Где же ты его найдешь этого... как его... брата...— от волнения Екатерина Михайловна забыла фамилию Акимом.

— Скворцова Николая,— подсказала ей Софья.

— Вот именно, Скворцова. Где ты его будешь искать в чужом городе?

— Спрошу у красноармейцев. Он же — командир. Наверное, они должны знать его.

— Хорошо, иди. Только прошу тебя, будь осторожна. Я тебя очень прошу об этом. Если не найдешь этого Скворцова, отдай письмо первому встречному красноармейцу, пусть он передаст ему это письмо, а сама тут же возвращайся, долго нигде не задерживайся. И постарайся не опоздать к вечерней службе,— смирилась Екатерина Михайловна с решением дочери.— погоди, дай перекрещу тебя,— произнесла она, накладывая на Софью крестное знамение, прежде чем та вышла из церкви.

* * *

На улице Софья остановилась в нерешительности, совершенно не зная, куда ей нужно было идти, где искать этого Скворцова Николая. Вечерело, солнце сошло с зенита, и было уже не так жарко, как днем. Сразу от церкви вверх шла застроенная двухэтажными каменными домами купеческая улица. От крайних утопающих в зелени домов шел ароматный запах спелых яблок. Почувствовав его, Софья только сейчас поняла, что очень голодна, но это не останавливало ее. Постояв какое-то время и размышляя, куда ей нужно идти, в какую сторону, и не найдя для себя никакого правильного решения, она наугад двинулась вверх по улице. Было немногочисленно. По мостовой, сидя верхом на лошадях, мимо нее проскакали красноармейцы. Софья проводила их взглядом. «А может быть, среди них был Николай Скворцов? Нет, вряд ли. Так быстро люди не отыскиваются. Не было его там. Господи! Где же мне искать-то его? А может быть, мама права, что не отпускала меня? Может быть, пока не поздно, вернуться назад, в церковь? Отстоять службу, а потом делать так, как мама скажет,— стала рассуждать и задаваться вопросами Софья.— Нет, не надо сворачивать с полдороги и возвращаться. Надо сделать так, как я решила — найти Скворцова. Аким читал в письме, что он командир, а раз он командир, то его, наверное, должны знать и другие красноармейцы. Надо о Скворцове спросить у них»,— решила она.

Первый красноармеец повстречался ей на пути, когда она прошла уже половину улицы. Он был пожилого возраста, с небритым лицом и красными воспаленными глазами. На его ремне болтался смятый в нескольких местах солдатский котелок, за спиной висела огромная, как показалось Софье, винтовка. Красноармеец, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, шел навстречу Софье.

— Простите, пожалуйста, не знаете ли вы командира красноармейцев по фамилии Скворцов? — спросила она у него.

— Нет, командира по фамилии Скворцов, я не знаю,— тяжело дыша, ответил тот, остановившись. И уже хотел было идти дальше, но, увидев, как Софья обиженно надула губки, улыбнулся и произнес: — А ты, дочка, в военный комиссариат сходи, там тебе точно подскажут, где найти твоего Скворцова.

— А где этот комиссариат? — спросила Софья.

— Он находится на Подъяческой улице. Ты знаешь, где Подъяческая улица?

— Нет, я не знаю города.

— В общем, дочка, ступай прямо по этой улице, дойдешь до второго перекрестка и повернешь направо, а там спросишь у кого-нибудь дом бывших купцов братьев Долговых, в нем и находится военный комиссариат.

Поблагодарив красноармейца, Софья пошла по указанному ей пути. Дом, в котором располагался военный комиссариат, нашла быстро. На крыше дома стоял пулемет, возле пулемета сидел и чадил сигаркой красноармеец. В дверях стоял часовой. Он разговаривал с сидевшим на крыше красноармейцем и не обратил на Софью особого внимания, лишь смерил ее взглядом. Софья вошла в здание и в нерешительности остановилась в длинном и полутемном коридоре. По обе его стороны были расположены комнатные двери, некоторые из них были растворены и из комнат то и дело выходили или входили люди, как в военной форме, так и в гражданской одежде, было шумно. Софья медленно пошла по коридору наугад, заглядывая во все комнаты с открытыми дверьми. В одной из комнат военных было больше, чем в других комнатах, они стояли вокруг стола и разговаривали, на столе была разложена карта, в комнате было накурено. Софья вошла в эту комнату и остановилась, собираясь уточнить у находившихся там, знают ли они Скворцова Николая, но решила прежде дожидаться прекращения их разговоров, чтобы не обрывать на полуслове говорившего военного.

— Скажите, товарищ Лампадьевский, почему же вы так уверены, что белые наступать на Ефремов не будут? — спросил один из них, невысокого роста, в военной гимнастерке с перетянутыми крест-накрест ремнями и с кобурой на боку, на вид ему было не больше сорока лет.

Лампадьевский — высокого роста и стройного телосложения, на вид около тридцати лет, с аккуратными щегольскими усиками и с чистым выбритым лицом оправил гимнастерку и принял строевую стойку.

— Во-первых, товарищ военный комиссар, прежде чем напасть на город, должна быть проведена разведка, а по сведениям жителей близлежащих к городу деревень казачьи разъезды у их сел не появлялись. Во-вторых, город хорошо защищен, и белые наверняка осведомлены об этом. В-третьих, фронт находится за несколько сотен верст от нас, за Воронежем, и таким образом противник вторгся в наши глубокие тылы, не имея должной тыловой поддержки, завязывать бой с большим воинским гарнизоном, к тому же имеющим тыловое подкрепление и немалые человеческие ресурсы, — смерти подобно. Тем более, разоряя на своем пути села, громя железнодорожные станции и узлы, белые потеряли преимущество внезапного нападения. По всем законам военного искусства противник, оказавшись в таких условиях, должен уклоняться от боестолкновений. Я полагаю, что казаки повернут на Юг и будут пробиваться к себе на Дон.

— Фронт за несколько сотен верст... — пробубнил военный комиссар. Он прислушивался к мнению Лампадьевского как к специалисту в военном деле, бывшему офицеру, поручику царской армии, имевшему боевой опыт ведения войны на германском фронте, верил, что он всем сердцем, всем своим сознанием принял Советскую власть и служит ей верой и правдой. — Вот он — фронт, в нескольких верстах от нас. Ну, а ты, товарищ Громов, как думаешь? — взглянул комиссар на другого военного.

Громов, среднего роста, на вид около двадцати лет, с небольшой бородкой, в отличие от Лампадьевского не стал принимать строевую стойку, а наоборот, оперся руками о стол.

— Думаю, товарищ военный комиссар, что белые все-таки предпримут попытку захватить город. Тем более, как нам рассказал прибежавший со станции Бабарыкино кондуктор поездной бригады Федор Ложкин, один из казачьих офицеров обмолвился, что они возьмут Ефремов, а затем пойдут дальше на Тулу с целью захвата оружейного завода.

— Согласен с тобой, Алексей, — военный комиссар, не дав договорить Громову, перебил его на полуслове. — Захватив оружейный завод, они смогут обеспечить оружием и без того хорошо вооруженные подразделения наступающих на Москву деникинцев. В связи с чем всем ставлю задачу, — военный комиссар и все остальные военные вновь склонились над картой. — Десятому стрелковому полку и четвертому запасному батальону занять позиции вдоль Солдатской и Черкесской улиц, далее вдоль берега Красивой Мечи до Иноземского моста, соединяющем Ефремов с большим Елецким трактом. И затем от Елецкого шоссе по прибрежному косоугору до деревни Богово. Далее от деревни Богово до парка Каменевской дачи оборону занимает часть особого назначения, — военный комиссар на карте вывел жирную линию, над которой написал «ЧОН», а по краям линии цифры десять и четыре. Затем оторвал взгляд от карты, поднял голову и взглянул на военных. — Товарищи Кудрявцев и Сигунов, вам задача ясна? — спросил он.

— Так точно, товарищ Медведев, ясна, — почти в один голос ответили Кудрявцев и Сигунов.

Военный комиссар Медведев вновь склонился над картой.

— Далее, товарищи. На другом берегу реки, от бугра, что у Стрелецкого моста и до дома красильщика Синельникова, занять позиции латышской интернациональной роты под командованием товарища Шнора,— Медведев вновь поднял голову и взглянул на Шнора, высокого роста и широкоплечего с небольшой бородкой и усами латыша.— Август Михайлович, вам ясна поставленная задача? — спросил он.

— Так точно, тофарыштч фоенный комыссар,— по-военному, с заметным акцентом ответил Шнор.

— Август Михайлович, вы знаете, где находится дом красильщика Синельникова?

— Разберьемся, Мыхаыл Фасыльефьтч.

Медведев покивал головой и вновь стал обводить присутствующих взглядом.

— Товарищ Голубев, где сейчас находится ваша железнодорожная рота? — остановил он взгляд на молодом двадцатипятилетнем парне.

— На железнодорожном вокзале, ждем дальнейших распоряжений,— ответил тот.

— Вам занять позиции с двух сторон железнодорожного моста по берегу реки, на самом мосту установить пулемет,— Медведев в очередной раз начертал линии на карте.

— Есть,— коротко ответил Голубев.

— Товарищи, по прибытии на указанные вам оборонительные позиции установить проволочные заграждения, вырыть окопы и оборудовать пулеметные гнезда. Это, товарищи, касается всех без исключения.— Медведев отложил карандаш, выпрямился, обвел присутствующих взглядом.— Таким образом, товарищи, мы оборонительным рубежом охватим все юго-восточное направление от Ефремова. Теперь что касается самого города. Где у нас командир караульного батальона?

— Я здесь, товарищ Медведев,— отозвался средних лет военный небольшого роста, но коренастого телосложения.

— Где вы расквартированы?

— На Дворянской улице, в подворье Знаменских.

— Давайте, товарищ Нечаев, вместе подумаем, где и как нам оборудовать оборонительные позиции так, чтобы в случае прорыва белых в город, мы смогли бы их остановить и нанести им максимальный урон,— проговорил Медведев и вновь склонился над картой.

— Предлагаю установить пулеметы на крышах городских строений, с которых хорошо просматриваются все дороги на юго-восточных подступах к городу. Также установить пулеметы на балконе второго этажа гостиницы Шульгина на Большой Мостовой улице. На площадях и улицах, ведущих от реки к центру города, вот здесь, здесь и здесь,— Нечаев стал показывать на карте, где именно необходимо установить пулеметные точки.— А также на колокольне церкви Покрова, она как раз находится в низменной части левого берега реки.

— Согласен с вами, товарищ Нечаев,— кивнул головой Медведев.— А вы, товарищ Марцевич, как руководитель военкомата, какие предпринимаете шаги по мобилизации населения?

— Шаги следующие, товарищ Медведев,— Марцевич выпрямил спину, поправил ремень, одернул гимнастерку.— С помощью ефремовской комсомольской ячейки мы подготовили списки жителей из числа мужского населения в возрасте от семнадцати лет и объявили мобилизацию. Очень много добровольцев, в основном из числа коммунистов и комсомольцев.

— Как проводится их обучение?

— Обучение проводится в Боговском лесу людьми, имеющими опыт ведения войны, как из числа красноармейцев, так же и из самих мобилизованных. В первую очередь обучаем ведению ближнего боя с примкнутым к винтовке штыком.

— Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени для обучения новобранцев?

— Думаю, товарищ военный комиссар, дня через два их можно будет направлять в воинские подразделения.

— Хорошо. И последний пункт, товарищи, нашего совещания. Сегодня нами была выслана разведка к железнодорожному разъезду Лобаново, разведка вернулась, хотя сведений, представляющих военный интерес, не получено. Но это была разведка предварительная. Полагаю, что необходимо выслать разведку в елецком направлении более углубленную и мобильную. Предлагаю создать разведывательный конный отряд под командованием товарища Лампадьевского.

— Слушаюсь, товарищ военный комиссар,— Лампадьевский встал по стойке смирно.

— Возьмите с собой несколько чоновцев, человек пять-шесть не более, они ребята надежные — все коммунисты и комсомольцы, и сегодняшней ночью выдвигайтесь в сторону Бабарькино. В бой не ввязываться, а только исключительно собирать сведения. Нам нужны сведения, и было бы неплохо, если вы смогли бы взять «языка».

— Слушаюсь,— вновь вытянулся в струнку Лампадьевский.

— У кого, товарищи, имеются дополнения, предложения или замечания? — спросил Медведев и оглядел стоявших перед ним командиров воинских частей, но все молчали.— Ну, раз ни у кого нет никаких возражений, будем считать, что план обороны города со всеми командирами воинских частей согласован и утвержден. На этом совещание Совета обороны города Ефремова закончено. Приказываю выдвинуться в места рассредоточения и приступить к обустройству оборонных позиций. Все свободны, товарищи,— закончил совещание военный комиссар Медведев.

В это время Софья, терпеливо ожидавшая, как она считала, окончания разговоров, и никем незамеченная, обращаясь сразу ко всем, громко спросила:

— Простите меня, пожалуйста, я ищу Скворцова Николая, он служит командиром, нет ли его среди вас?

На ее слова повернулись все без исключения, стоявшие вокруг стола военные.

— Вы, милая барышня, кто такая и как вообще сюда попали? — строго глядя на Софью, спросил Медведев.

— Я — Софья Рязанова, но только Скворцов меня не знает...— начала было объяснять Софья, но ее перебил Медведев.

— И вы, Софья Рязанова, хотите с ним познакомиться? — спросил он.

— Нет, то есть, да... в общем мне ему нужно кое-что отдать и рассказать,— под множеством мужских взглядов Софья растерялась и сбилась с мысли.— А вошла я сюда в дверь,— покраснев от смущения и часто моргая глазами, сказала она.

— Ну, а что же засмутила-то? — улыбнулся Медведев и вслед за ним все тоже заулыбались, заговорили друг с другом.— Ну что, товарищи, кто из вас знает командира Скворцова?

— Скворцов служит у меня в роте,— ответил Медведеву командир железнодорожной роты Голубев.— Командиром взвода,— добавил он.

— Ну, тогда объясни, Дмитрий, барышне, где ей найти твоего Скворцова?

— Ступайте на железнодорожную станцию, там он, этот ваш Скворцов.

Софья поблагодарила военных и вышла на улицу. Щеки ее и уши от волнения пылали огнем, но она волновалась не от того, что попала под перекрестные взгляды мужчин, а от того, что ей предстояло сообщить Скворцову Николаю страшное известие о гибели его брата.

* * *

На вокзале было многолюдно и шумно. Кто-то с кем-то ругался, что-то кому-то доказывала громкоголосая женщина, плакали дети. В углу с перекинутыми через плечо винтовками стояли красноармейцы. Софья подошла к ним.

— Простите меня, пожалуйста, не знаете ли вы Скворцова Николая? Я его ищу.

— Что, красавица, жениха потеряла? А может быть, я для тебя сгожусь вместо Скворцова? — спросил белобрысый красноармеец, на вид которому было не больше двадцати лет, и после его слов красноармейцы дружно засмеялись.

— Простите, — извинилась Софья и отошла от красноармейцев в сторону.

— Будет вам гоготать-то, жеребцы! — одернул их один из красноармейцев, явно выделяющийся от остальных по возрасту и до этого стоявший чуть в стороне от них. Те замолчали, стали переглядываться друг с другом, улыбаясь и изредка посматривая на Софью.

— А что, Михалыч, гляди какая барышня красивая, я бы на ней женился, — вновь заговорил все тот же белобрысый, и после его слов о женитьбе Софья почувствовала, как ее лицо и уши запылали еще сильнее.

— Ну, ну, балагур, ввел девку в краску. Вона, гляди, ажни вся покраснела, — сделал Михалыч замечание белобрысому красноармейцу. Затем повернулся к Софье. — Иди на улицу, там, на перроне он, твой Скворцов.

Поблагодарив пожилого красноармейца, Софья вышла на улицу. Перрон, как и вокзал, был заполнен людьми. Весть о том, что станция Бабарыкино захвачена белоказаками и что они движутся на Ефремов, быстро разнесли по подворьям, и вскоре она обросла различными, один страшнее другого, слухами. На всех городских улицах и площадях шли разговоры о том, что казаки не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков, а рубят шашками всех направо. Поверив слухам, люди в панике стали бежать из города. Прошел слух и о том, что на станцию должны подать эшелон для эвакуации жителей, и большая часть населения города Ефремова, полагая, что от быстрых казачьих коней бегом не спасешься, хлынула на станцию в надежде занять место в этом эвакуационном эшелоне. Дежурный по станции Ефремов Анатолий Капитанов, в прошлом израненный в боях красный кавалерист, отбивался от наседавших на него, кричащих и хватающих его за одежду людей.

— Нету никакого поезда, нету и не будет! — пытался он перекричать орущую толпу. — Я не знаю, кто вам обещал этот поезд, я вам не обещал! Расходитесь, товарищи, расходитесь, не создавайте сутолоки, здесь и без вас хлопот хватает, — громко говорил дежурный, отбиваясь от хватающей его за одежду полной старухи.

— У меня племянник тут на станции железнодорожником служит, он давеча сказывал, что эшелон должен придти из Волова за людьми, — кричала старуха, привлекая к себе внимание толпы.

Дежурный выругался в полголоса, снял картуз и вытер ладонью пот со лба.

— Да, идет поезд из Волова, но поезд тот военный. Это идет дополнительная помощь для обороны города от прорвавшихся белых. И никого, кроме раненых красноармейцев, тот поезд отсюда вывозить не будет. Ясно вам? Успокойтесь и расходитесь по домам. Ничего не бойтесь, белые город не возьмут, он надежно укреплен, — начал было объяснять дежурный, но все его объяснения оказались тщетными. Как только люди услышали из его уст о вышедшем со станции Волово поезде, начали раздаваться выкрики: «Идет! Поезд идет!», «Нас обманывают. Разгоняют по домам для того, чтобы им самим места в поезде хватило!», «Мест в поезде мало, всем не хватит!», «Эшелон уже на подходе, готовьтесь занимать места. Мест всем не хватит!», «Казачи уже на подступах к городу, через час-другой будут здесь». Разношерстная толпа мужчин и женщин разных возрастов с мешками, лукошками, сумками и плачущими детьми, чуть не сбив с ног дежурного, с криками кинулась к краю платформы. Подождя, пока схлынет людской поток, Софья подошла к нему.

— Простите меня, пожалуйста, я ищу командира красноармейцев Скворцова Николая. Мне сказали, что он где-то здесь, на перроне, должен быть. Не видели ли вы его? — спросила она.

— Скворцова? — переспросил дежурный.— Нет, я не знаю такого. Тут в этой суматохе трудно кого-то найти, сами видите, что творится! — дежурный, от безнадёжности что-либо изменить, махнул рукой.— Сходите, барышня, вон к тем красноармейцам, что стоят у края платформы, может быть, там Скворцов.

Софья направилась к ним, и, подойдя, спросила:

— Простите, пожалуйста, мне нужен Скворцов Николай.

— Так вон он, Скворцов Николай,— указал один из красноармейцев рукой на стоявшего поодаль высокого красноармейца.

Софья подошла к нему. Перед ней стоял почти ее ровесник, года на два-три постарше. Софья сразу обратила внимание, что Николай и погибший Аким внешне очень похожи друг с другом. У Николая были точно такие же, как и у Акима, пшеничного цвета волосы, голубые глаза, немного вздернутый нос, под носом небольшой пушок от зарождающихся усов.

— Простите, вы Николай Скворцов? — спросила Софья.

— Да, Николай Скворцов — это я.

— Мне нужен тот Николай Скворцов, который командир красноармейцев,— уточнила Софья.

— Я и есть — командир.

— А я думала, что командиры все старые, а такими молодыми командиры не бывают.

Услышав ее слова, Скворцов напустил на себя важный вид. Выпрямил спину, расправил плечи, заправил за ремень вздувшуюся пузырями гимнастерку и нахмурил брови.

— Вы, барышня, ежели по делу какому, то так и говорите, а просто так мне с вами разговоры вести некогда. У нас там белые фронт прорвали,— кивнул Николай головой в сторону станции Бабарыкино.

— Я знаю... я там была... я видела... там...— начала говорить Софья, но замолчала. Она никак не могла начать разговор о смерти Акима, никак не могла сосредоточиться; все те слова, которые она хотела сказать Николаю, несколько раз мысленно повторяла, вылетели из ее головы.— Вот, возьмите, это вам,— наконец-то произнесла она и протянула Николаю написанное им Акимом, письмо.

— Что это? — спросил тот, забирая из рук Софьи бумажный листок.— Это... это же... письмо... мое письмо... откуда оно у вас?! — удивленно глядя на свое письмо, спросил Николай.

— Я ехала тем поездом, который на станции Бабарыкино захватили военные,— начала рассказывать Софья, но мысли вновь стали путаться у нее в голове, она никак не могла сосредоточиться и правильно сформулировать свою речь.— Я ехала с мамой, и с нами вместе ехал ваш брат Аким...— Софья замолчала, вспомнив об убийстве Акима, к ее горлу подкатился ком, на глаза навернулись слезы.

— Где он? Он должен был приехать тем поездом... Что с ним?!.. И это письмо,— Николай еще раз взглянул на письмо.— Что случилось? Его что... больше нет?! — Николай разволновался, тяжело задышал.— Говорите же, не молчите! — почти закричал он.

— Его схватили военные, он начал от них убегать, и они... они выстрелили в него из ружья,— глубоко вздохнув, наконец-то выдавила из себя Софья.

— Его что... убили? — тихим и вмиг севшим голосом спросил Николай.

— Я не знаю... я видела издали... Аким упал, а к нему на лошади подскочил военный, посмотрел на него и... махнул рукой. Я не знаю, может, его только ранили, и он сейчас лежит в больнице? — Софья заплакала. Она словно вновь пережила те страшные минуты, когда увидела, как от выстрела Аким упал на землю.

— А письмо... почему оно у вас? — спросил Николай, с недоверием и подозрительностью глядя на Софью, его губы на побледневшем лице нервно подрагивали.

— Акима обыскали военные и нашли у него это письмо. Его схватили и посадили в поезд, а письмо это один из военных, наверное, их командир, прочитал, скомкал и бросил на пол, а я потом подняла и спрятала.

— Зачем же вы его подняли и спрятали? — тихо спросил Николай.

— Я не знаю, зачем я это сделала.

— Странно. А откуда же белые узнали про это письмо?

— Я тоже не знаю этого, но, мне кажется, им о письме рассказал толстый дядька. Он тоже ехал с нами в поезде и видел у Акима это письмо. Аким нам всем читал его вслух. А потом, в Бабарыкино, тот толстый дядька вышел из поезда и о чем-то говорил с военными, и те потом зашли в поезд и нашли у Акима письмо.

Николай потупил взгляд в землю, отвернулся от Софьи и пошел в сторону разросшейся акации. Сел на землю, снял с себя шапку-шлем с остроконечным верхом и пришитой над козырьком тряпчатой красной звездой, прикрыл ею лицо и заплакал. Плакал он молча по-мужски, лишь изредка вздрагивая плечами. Софья подошла к нему и остановилась за его спиной. «Акимушка... братишка мой дорогой... прости меня... это я во всем виноват... зачем же я писал это письмо... будь оно проклято... прости меня Акимушка», — всхлипывая по-детски тихим голосом, почти шепотом причитывал Николай, но Софья все же слышала произносимые им слова. Глядя на вздрагивающие плечи и голову Николая, ей вдруг стало очень жалко его. Жалко до такой степени, что к горлу вновь подкатился ком, сковал дыхание, на ее глаза навернулись слезы, и она тоже тихо заплакала. Сама не ожидая от себя, она протянула руку и, задержав ее на секунду-другую в воздухе, провела вдруг ладонью по волосам Николая. Тот вздрогнул, повернул голову и взглянул на Софью снизу вверх мучительным взглядом заплаканных глаз. Затем быстро вытер шлемом лицо, по-ребячьи всхлипнул, сглотнул слюну и вновь отвернулся от Софьи.

— Вы, барышня, еще здесь? Зачем вы так? Не надо... уходите, прошу вас, уходите, — тихим голосом попросил он. Затем, скорее почувствовав, чем увидев, что Софья продолжает стоять на месте, громко крикнул: — Уходите отсюда!

Софья, словно обожглась, резко одернула руку. Какое-то время постояла в нерешительности и, развернувшись, пошла в сторону вокзала. На перроне по-прежнему была суматоха. Дежурный продолжал отбиваться от наседавших на него людей. Софью задевали плечами, толкали, но она не замечала этого. Перед тем как уйти с перрона, она оглянулась и посмотрела в ту сторону, где оставался Николай, но из-за снующей взад и вперед людской толпы уже его не увидела.

Всю обратную дорогу от вокзала до церкви Софья испытывала чувство обиды на Николая. Она не могла понять, за что он рассердился на нее и грубо изгнал от себя. «Я же поступила по-божески, по-человечески, сообщив ему о смерти его брата, а он...», — думала она и слезы обиды душили ее, комом сдавливало горло.

День уже клонился к закату, солнце, отражаясь красно-золотистыми бликами, уходило за горизонт. Так и не сумев подавить в себе боль обиды, Софья вошла в церковь. Вечерняя служба уже шла, но прихожан было мало. Екатерина Михайловна стояла у Христова распятия и молилась, едва заметно шевеля губами. В церкви было сумрачно, и в сумраке теплились зажженные лампадки, потрескивали свечи. Небольшого роста полноватый дьякон громким голосом читал молитвы. Вскоре замолчал и вошел в алтарь, где в это время старый и худощавый, с небольшой и редкой бородкой священник воскуривал в кадильнице ладан. Воскурив, вышел из алтаря через Царские врата и, произнося молитву, пошел по кругу, окуривая лики святых и лица прихожан благовонным дымом.

— Почему опоздала к вечерней? — тихо, почти шепотом, спросила у Софьи Екатерина Михайловна.

— Так получилось,— так же тихо, ответила ей Софья.

Церковная прохлада, приятное мерцание лампадных и свечных огней, потрескивание плавленного воска, ароматный запах ладана благоприятно действовали на Софью, она начала успокаиваться. «В конце концов, почему Николай должен ко мне относиться с любезностью? Кто я ему? Никто. Чужой человек. Я просто поступила по-божески — сообщила ему о постигшем его горе, а как он отнесся ко мне, на то ему бог судья»,— решила Софья и попыталась забыть Николая, но это ей никак не удавалось. Николай то и дело всплывал в ее сознании в разных образах. То он — совсем мальчишка — напускал на себя строгость, то стоял в растерянности после получения страшного известия, а то был зол. Но больше всего Николай представлялся Софье сидящим на земле с поникшей головой и вздрагивающими от плача плечами. И этот образ Николая выдавливал из ее сознания образ того злого Николая, гнал его прочь, и ей, как и тогда на перроне, захотелось успокоить его, плачущего, пожалеть, обнять, прижать к себе и приласкать. За этими раздумьями и переживаниями Софья не заметила, как закончилась служба, но Екатерина Михайловна не спешила уходить из церкви, да и идти-то им было некуда. Она с трудом дошла до стоявшей у свечной лавки скамьи и тяжело опустила на нее.

— Сонечка, пойдй, принеси мне, пожалуйста, воды,— тяжело дыша, попросила она.

Софья подошла к стоявшей здесь же в церкви металлической бочке с надписью «Святая вода», перекрестилась, зачерпнула небольшим ковшиком воду и принесла матери. Воду Екатерина Михайловна пила с трудом, маленькими глотками с остановкой и тяжелой одышкой.

— Мама, как ты себя чувствуешь? Мне кажется, тебе нехорошо,— с тревогой в голосе обратилась к Екатерине Михайловне Софья.

— Ничего, Сонечка, ничего доченька, все хорошо. Не переживай обо мне.

— Я же говорила тебе, что не нужно нам было никуда ехать. Давай возвратимся в Елец, кому мы здесь нужны? Никому. Нам с тобою даже переночевать негде,— предложила Софья.

— Нет, нет. Никуда мы возвращаться не будем. А по поводу ночевки, я сейчас с батюшкой поговорю, может быть, он нам что-то посоветует. Сейчас он из алтаря выйдет, и я с ним поговорю. Авось он придумает, где нас разместить.

Софья больше не стала настаивать на возвращении в Елец, хотя состояние матери тревожило ее. Вскоре из алтаря вышел священник, он был без священнического облачения.

— Сонечка, помоги мне подняться,— обратилась Екатерина Михайловна к Софье, протягивая ей руку. Та помогла матери встать со скамейки, а затем, придерживая под локоть, подвела к священнику.

— Батюшка, мы с дочерью,— Екатерина Михайловна кивком головы указала на Софью,— сюда приехали из Ельца. Завтра после утренней службы собираемся ехать дальше — на Птань, но нам негде переночевать. Не смогли бы вы помочь нам в этом? За ночевку я заплачу, деньги у меня есть, немного правда, но есть.

Священник долго и внимательно глядел на Екатерину Михайловну и Софью уставшим и грустным взглядом.

— Я гляжу, вы не крестьянки? — неожиданно спросил он.

— Да, батюшка, вы правы. Мы — дворянки. У нас на Птани было имение, но в революцию его разграбили, а дом сожгли. Мы с дочерью уехали в Елец и живем в доме моего брата. На Птани, в Никольском, похоронен мой муж. Я сейчас очень больна, видимо, жить мне осталось недолго, хочу побывать на его могиле.

Священник молчал какое-то время, лишь кивая головой. Затем заговорил:

— Вы, барыня, простите меня великодушно, в доме своем не могу вас приютить — сын у меня, хоть из бывших офицеров, но теперь в Красной армии служит здесь, у нас в Ефремове. Сами понимаете, появление в нашем доме бывших дворянок может плохо отразиться на его нынешней службе, такие уж нынче времена настали,— вздохнул священник.— А вот в крестильной комнате могу вас оставить на ночь. Там есть длинные лавки, если не побрезгуете, можете на них переночевать.

— Спаси вас Бог, батюшка.

— Зовите меня отцом Александром. А как же вы будете добираться до Птани? Путь-то не близкий.

— Как Бог даст. Завтра все решится, утро вечера — мудренее,— вздохнула Екатерина Михайловна.

— Если не найдете извозчика, я вам выделю своего. Он отвезет вас на Птань,— после недолгого молчания произнес священник.

— Спаси вас Бог, отец Александр,— вновь повторила Екатерина Михайловна и склонила перед священником голову.

— Агафья, подойди ко мне,— подозвал священник согбенную старушку.— Сегодня у нас в крестильной переночуют вот эти две барыни,— отец Александр указал на Екатерину Михайловну и Софью.— Там у нас лавки целы?

— Целые они, куды ж они денутся?

— Ты составь их вместе и застели чем-нибудь, чтобы на них лежать не жестко было, и кипяточку им принеси туда.

— Хорошо, отец Александр,— ответила старушка. Затем вновь снизу вверх из-за сутулости взглянула на Екатерину Михайловну и Софью.— Пойдемте, я провожу вас до крестильной.

Несмотря на то, что Агафья застелила лавки старым лоскутным одеялом, спать на них все-таки было жестко и неудобно. Екатерина Михайловна долго ворочалась с боку на бок, кряхтела и охала, вставала и долго сидела, тяжело дыша от нехватки воздуха, затем вновь ложилась. И только под утро, когда за окном стала бледнеть ночная темнота, она впала в неглубокий и тревожный полусон. Софья же наоборот, поев круглой в мундирах картошки, которую им принесла Агафья, попив кипятку, уснула крепким сном. Утром ее разбудила Екатерина Михайловна.

— Сонечка, вставай, нам пора в церковь,— тормоша дочь за плечо, тихим голосом говорила она. Софья с трудом разлепила ресницы, взглянула на мать полусонным взглядом, покивала головой и вновь начала засыпать, но Екатерина Михайловна не дала ей этого сделать. Она еще раз более настойчиво начала трясти дочь за плечо,— вставай, вставай, некогда спать, пора на утреннюю службу собираться.

Потягиваясь спросонья и позевывая, Софья с трудом поднялась с лавки. Посидела какое-то время и, встав на ноги, направилась к висевшему у входа рукомоюнику, умылась и вытерла лицо висевшим здесь же рушником. Екатерина Михайловна ждала Софью на улице.

— Сонечка, возьми меня, пожалуйста, под руку, а то у меня что-то кружится голова,— попросила она дочь, и та взяла мать под руку.

Несколько метров от крестильной до церкви Екатерина Михайловна шла с трудом. Часто останавливалась, глубоко и тяжело дышала. Так и вошла она в церковь, поддерживаемая Софьей, с трудом поднимаясь по небольшим каменным ступеням при входе. Во время утренней службы она исповедовалась и причастилась, а по окончании службы отец Александр, как и обещал, выделил Екатерине Михайловне и Софье для поездки на Птань свою пролетку. Возницей был служивший у священника много лет кучером местный житель, шестидесятилетний крестьянин Авдей.

— А-а-а-у-а-а,— произнес Авдей, когда Екатерина Михайловна спросила у него, как к нему обращаться.

— Нямой он, барыня, нямой... во,— Агафья высунув свой язык, несколько раз слегка прикусила его губами, а затем показала руками на свои уши,— и глухой он к тому же. Но вы не подумайте чего, куды вас надоть отвезть он знает,— при этих словах Агафья сунула в руку Софье небольшой узелок.— Это я вам нямножко поесть собрала в дорожку, тута картохи и хлеб.

— Спасибо большое,— принимая подарок, Софья склонила голову.

Подошел священник.

— Не переживайте, барыня, Авдей дорогу на Птань знает, не раз там бывал,— сказал он, обращаясь к Екатерине Михайловне. Затем взглянул на Авдея.— Как отвезешь барынь на Птань, сразу же возвращайся обратно. Понял меня, Авдей? — спросил у него отец Александр.

— А-а-а-у-а-а,— произнес тот, кивая головой.

— Вот видите? Он все понимает.

Екатерина Михайловна и Софья поблагодарили отца Александра и Агафью, удобно усаживаясь на мягкие сиденья двуколки.

— С Богом! — священник поднял вверх руку и едва заметным движением двумя перстами наложил крестное знамение на путников.— С Богом! — вновь повторил он.

Авдей подстегнул лошадь, и та резво взяла с места. Екатерина Михайловна и Софья оглянулись и помахали руками ставшим в одночасье близкими для них людьми — священнику отцу Александру и церковной послушнице Агафье. Поцокав копытами по булыжным городским улицам, лошадка вынесла седоков в загородные просторы и, поднимая пыль, пошла рысью по уходящей далеко за горизонт дороге. По обе стороны от нее раскинулись скошенные хлебные поля. Жатву завершили ко дню Успения Пресвятой Богородицы, но ометы соломы еще стояли. Полуденное белое солнце было в зените и беспощадно выжигало и без того уже пожухлые луговые травы, горячим маревом парила земля. Путники разомлели, ехали молча, и лишь Авдей изредка понукал лошадь своими нечленораздельными звуками, отгоняя ими от Екатерины Михайловны и Софьи то и дело наваливавшуюся на них дремоту. Изредка им на пути встречались повозки, и их хозяева по сложившейся с дореволюционной поры привычке, снимали с головы картузы и кланялись двум сидящим в дорогой пролетке барыням. Примерно часа через два пути выехали на дорогу, ведущую в Сергиевское, долго ехали берегом Птани, миновали несколько деревень, в том числе и Ордынку, и вскоре свернули на птанскую дорогу. Солнце уже начало остывать и медленно клониться к закату, когда путники въехали в сельцо. Проехав мимо нескольких подворий, остановились у дома своего бывшего управляющего именем Гордея Фролова. Увидев бывшую барыню и ее дочь, Гордей больше испугался, чем удивился.

— Барыня?! Неужто это вы?! — выйдя из дома, воскликнул он.

— Я, Гордей Никифорович, я,— тихим и измученным голосом ответила Екатерина Михайловна.

— Господи — Боже ты наш, вот не ожидал... вот не ожидал,— начал причитать Гордей, опасливо озираясь по сторонам.

— Примешь ли ты нас к себе на постой, Гордей Никифорович? — спросила Екатерина Михайловна.— Всего на одну ночь, завтра утром мы уедем,— пояснила она, заметив, что Гордей стоял в нерешительности и молчал.

— Ну, коли на одну ночь, то можно. Время-то нынче, сами знаете, не простое. Мне и так от новой власти досталось за то, что был управляющим в вашем имении, хорошо хоть комитет бедноты за меня вступился, а так...— Гордей махнул рукой.—

Вы, барыня Катерина Михална, уж не обессудьте меня,— Гордей начал торопливо открывать воротину,— заводите лошадку во двор,— распорядился он, продолжая озираться по сторонам.

— Спаси тебя Христос, Гордей Никифорович,— поклонилась ему Екатерина Михайловна, входя во двор.

— Карета-то у вас какая красивая, прямо царская карета-то. Должно быть, больших денег стоит,— Гордей начал внимательно рассматривать пролетку.— И седелка мягкая. Должно быть, дорогая карета-то, а? Чего молчишь-то? — обратился Гордей к Авдею, видя, что тот продолжает молчать.

— Немой он,— сказала Екатерина Михайловна, взглянув на Гордея.

— Немой? Вот те раз! — удивился тот.

— А-а-а-ы-ы-у-у-у,— в подтверждение слов Екатерины Михайловны нечленораздельно произнес Авдей.

— Вот те раз, надо же,— немой! — вновь удивился Гордей.— Ну, проходите в дом, а я лошадку в хлев заведу, да карету вашу спрячу от любопытных глаз,— проговорил он и вновь начал озираться по сторонам.

Дом Фроловых был хотя и небольшой, но прочный, построенный из белого камня, с деревянными полами, сенцами и хлевом для скотины. В доме было две комнаты, одна большая — горница, а другая поменьше. В маленькой комнате с одним окном стояла железная с пружинами и коваными резными спинками кровать, подле кровати стул и небольшая деревянная тумба, на которой возле подсвечника со свечой лежали книги духовного содержания, поверх них — Евангелие. В центре большой с двумя окнами комнаты стоял покрытый светлой скатертью круглый стол со стульями, у стены — комод и закрытый на всякий замок добротный, с полукруглой крышечкой и окованный по периметру металлическими полосками, сундук. В сундуке Фроловы хранили постельное белье, праздничные — на показ — наряды, кокошники, даже сохранившиеся свадебные одежды, в которых они венчались в церкви. В горнице висела печь-лежанка, у печи длинная скамья. С другой стороны печи располагалась кухня. На кухне у окна был стол с тремя табуретами, небольшая скамейка, на столе прикрытая рушником горкой стояла деревянная посуда.

Марфа Антоновна хлопотала у печи, когда в дом вошли гости. Увидев Екатерину Михайловну и Софью, она оторопела.

— Батюшки мои родные, пресвятые отцы небесные... барыня, нулишь, енто вы? Откель же вас к нам господь послал?

— Здравствуй, Марфа,— вместо ответа поздоровалась с ней Екатерина Михайловна. Софья тоже поздоровалась с Марфой Антоновной, при этом немного склонив голову.— Вы, наверно, уже позабыли нас? — спросила Екатерина Михайловна, внимательно глядя Марфе в глаза и пытаясь угадать, желанен ли для нее их приезд или обременителен.

— Господи, а я-то думала, что уже не увижу вас боле,— Марфа всплеснула руками, затем замешкалась, взялась за концы платка, поднесла их к лицу и зажала губами, на глаза навернулись слезы.— Барыня... Катерина Михайловна... матушка вы наша... да коли можно забыть-то вас? Коли можно забыть все доброе, что вы с барином нашим, Серафимом Аркадичем, для нас сделали? — запричитала Марфа и, забыв, что перед нею ее бывшая барыня, кинулась к ней, обняла и начала целовать в исхудавшие морщинистые щеки. Екатерина Михайловна ответно прижала к себе Марфу, начала целовать ее как родную, и тоже дала волю чувствам. Стоявшие в дверях Гордей Никифорович, Софья и вошедший следом за ними Авдей молчали и терпеливо ждали, когда две почти одинаковые по возрасту женщины — одна бывшая барыня, а другая ее прислужница — вместе со слезами выплеснут из себя нахлынув-

шие на них чувства и эмоции. Наплакавшись, словно обессиленные, обе уселись у печи на скамейку. Гордей прошел мимо них к окну и внимательно посмотрел на улицу, чтобы убедиться: видел ли кто приезд к нему барыни или не видел? И, убедившись, что все в порядке, задернул штору.

— Люди разговоры ведут, что вы за границу уехали, в Хранцию,— Гордей взглянул на Екатерину Михайловну.

— Нет, Гордей Никифорович, мы в Ельце живем, в доме моего брата. Я больна, и мне уже немного осталось жить на этом свете...— Екатерина Михайловна оборвала себя на полуслове и замолчала.

Гордей Никифорович уже и сам увидел, как постарела за эти годы когда-то красивая, всегда жизнерадостная и добрая к простым людям барыня.

— А дочка-то ваша, Сонечка, как выросла, совсем уже невеста,— вступила в разговор Марфа Антоновна.

— Да, чужие дети растут быстро,— согласилась Екатерина Михайловна.

— Замужем, ай нет? — Марфа Антоновна переводила взгляд с Екатерины Михайловны на Софью и обратно.

— Пока еще нет,— ответила Екатерина Михайловна.

— Ну, ничего, ничего. Она у вас — красавица, на отца похожа. Глаза-то у нее, как и у барина нашего были — черные. Вы-то с Володей голубоглазые, а Серафим Аркадич и Сонечка — черноглазые. Помню, как барин сказывал, что дочери должны быть похожи на отцов, а сыновья на матерей, тогда они счастливыми будут. Так-то он сказывал.

— Да, он так говорил,— кивнув головой, согласилась Екатерина Михайловна.— Только где оно, счастье-то это? За какими лесами и за какими долами схоронено? Кто бы показал. Было когда-то счастье, да растеклось все, растворилось, словно утренний туман,— вздохнула она и потупила взгляд в пол.

— Марфа, будя тебе пустые разговоры заводить. Люди с дороги усталые и голодные, давай лучше повечеряем,— проговорил Гордей Никифорович, обращаясь к жене.

— Ой, и правда, чтой-то енто я,— встрепенулась Марфа. Быстро поднялась со скамейки, пошмыгала носом, завязала потуже платок и направилась к печи.— Щас я соберу повечерить.

Перед едой все вместе помолились и приступили к трапезе.

— И что же вас, барыня, привело сюда? — прожевывая картофелину, спросил Гордей.

— Захотелось родные места навестить, на могилке Серафима Аркадьевича побывать, а то когда еще удастся... и годы не те, и здоровье не то.

— А это, стало быть, кучер ваш? — Гордей кивком головы указал на Авдея.

— Да, он кучер.

— Стало быть, так и продолжаете барствовать? И при новой власти, стало быть, тоже барствуете?

— Нет, Гордей Никифорович, мы при новой власти не барствуем. Кучера и лошадей нам в дорогу дал ефремовский священник. Мы в церкви были на службе, там и переночевали нынешней ночью. Отец Александр смилостивился над нами. Ты, Гордей Никифорович, не переживай, мы завтра рано поутру уедем от тебя, нам только заночевать. Завтра посетим то место, где было наше имение, в Никольское съездим на могилку Серафима Аркадьевича, да и назад поедем, в Ефремов, а оттуда уже в Елец,— ответила Екатерина Михайловна.

Гордей взглянул на Авдея. Тот под его взглядом отложил в сторону кусок хлеба, посидел немного и вдруг выставил в сторону висевших икон указательный палец.

— А-а-а-у-у-а-а,— произнес он и начал накладывать на себя крестное знамение, таким образом, подтверждая сказанное Екатериной Михайловной.

Гордей насулился, потупил взгляд в пол, замолчал, заиграл на скульях желваками и задумался. Наступила неловкая тишина.

— Я так скажу, — наконец-то после довольно долгого молчания нарушил он тишину.— Пусть Авдей рано утром уезжает, а вас с Соней я повезу.

— Нет, нет, не надо, мы не хотим вас обременять. Тем более, нам нужно будет ехать в Ефремов, а это далеко,— запротестовала Екатерина Михайловна, но Гордей Никифорович настоял на своем решении.

— Все, уважаемая барыня Катерина Михална, как я решил, так и будет. Я тут хозяин, а значит, как быть, решаю тоже я.

— Гордей, а как же... нежели суседи-то увидят тебя, что ты вместе с барынями...— несмело и с испугом в голосе заговорила Марфа, но оборвала себя на полуслове и виновато взглянула на Екатерину Михайловну, та молчала.

— Плевать мне на них. И ты тоже поедешь вместе с нами. Мы же с тобой давно собирались съездить в Никольское на могилу сына, вот и съездим, заодно и на могилу барина нашего сходим. А теперча давайте помолимся и пора ложиться спать, время позднее, вон на улице уже темнеет. Завтра рано вставать,— сказал Гордей.

Екатерине Михайловне хозяева уступили свою постель, Марфа Антоновна постелила себе на сундуке, а Софье на печи. Гордей и Авдей ушли спать на сеновал.

— Погоди, Марфа Антоновна, не ложись, давай с тобою вечерние молитвы прочитаем,— попросила Екатерина Михайловна.

— Давайте, барыня.

Софья тоже молилась вместе с ними, но слова молитвы постоянно сбивались и путались у нее в голове приходившими воспоминаниями о Николае. Он вновь представлялся перед ее мысленным взором важным и напыщенным, со сведенными для солидности к переносице бровями. Именно таким, каким она его увидела при их первой встрече. Еще представлялся сидящим на земле, беспомощным и плачущим, с согнувшейся спиной и вздрагивающими плечами. И именно такого — беспомощного и плачущего, Софье было очень жалко, так жалко, что она вновь, как и в прошлый раз, почувствовала желание обнять его и прижать к себе. Прижать, чтобы успокоить и утешить его, своею любовью облегчить его душевные страдания. Любовью?! Услышав в себе это слово — любовь, Софья испугалась. «Нет, нет, только не это. Посочувствовать Николаю, найти добрые для него слова и все, этого будет достаточно», — так считала она, но полюбить его? Полюбить его она не сможет. «Это — не любовь, это что-то иное,— решила Софья.— Тогда что это? Что это за чувство, которое тревожит меня? Не дает мне покоя? Что это?» — стала задаваться она вопросами и не находила ответа.

После вечерней молитвы Софья влезла на печь. Днем печь была истоплена, но к вечеру начала остывать, и было не слишком жарко. Екатерина Михайловна и Марфа Антоновна не разошлись по своим постелям, а присели на длинную скамью и завели неспешный, тихий и душевный разговор. На улице уже окончательно стемнело, и в комнате горела свеча. Софье не спалось, в голову приходили различные мысли, и о посещении на следующий день их бывшего имения, и об их возвращении в Елец, и о болезни Екатерины Михайловны, но чаще других ей приходили мысли и воспоминания о Николае. «Где он сейчас? Что делает? Как пережил известие о смерти брата? А может быть, его отправили воевать с теми военными, которые убили Акимку? А может быть, он тоже сейчас думает обо мне?» — стала мысленно задаваться Софья вопросами, глядя на мерцающий огонек свечи.

—... Дюже нехорошо с вами поступили мужики-то, дюже нехорошо. Не по совес-

ти. Ни вы, барыня, ни упокойный барин никогда зазря не забирали ни мужиков, ни баб. А они вона что сотворили — взяли и ваш дом сожгли, — донесся до слуха Софьи голос Марфы.

— Мне было очень страшно в тот раз, когда мужики в наше имение приехали с бадьями керосина, — тихо отвечала ей Екатерина Михайловна. — Думала, страшнее ничего уже не будет в жизни, а когда увидела, как солдаты застрелили убегающего мальчика, испугалась еще больше. Поверишь, Марфа, так сильно испугалась, что чуть было в обморок не впала, насилу выдержала это испытание. Как же можно было убить ни в чем не повинного мальчика? — Екатерина Михайловна заплакала. — Ведь они же все взрослые люди, неужели не видели, что он еще почти ребенок? А Сонечка не выдержала, впала в обморок и свалилась кулем. Я как увидела это, чуть жизни не лишилась, спасибо, лекарь рядом оказался, привел ее в чувство. Очень много у меня сил отобрал этот случай, очень много, — вытирая слезы, тихо говорила Екатерина Михайловна, надеясь, что Софья уже уснула и ее слов не слышит, но Софья еще не спала и все слышала.

— Все испытания нам дадены Богом. Значит так нужно Господу. Помните, барыня... — начала говорить Марфа, но Екатерина Михайловна перебила ее.

— Марфа, не называй меня барыней, прошу тебя. Я теперь уже никакая не барыня. Называй меня по имени, мы с тобою, поди, погодки, — попросила она.

— Хорошо, буду звать тебя по отчеству. Так вот, Катерина Михайловна, когда сын мой Ванька с германской войны вернулся весь газом протравленный, ходил и задыхался, да ты помнишь, наверно, вы-то еще здесь в имении жили...

— Помню, конечно, — подтвердила Екатерина Михайловна.

— Я тогда думала, что не переживу этого. Как увижу, бывало, как он задыхаться начинает, руками схватится за горло, глаза закатит, так и у меня самой горло перехватывает, и мне тоже дышать нечем, будто и я вместе с ним тем газом затравилась. А потом, енто уже, когда вас тут не было, он и помер от ентога газу. Так я думала, что не воскресну боле. Но ничего, отпустило. Видать, так Богу угодно, — вздохнула Марфа Антоновна. — А твой-то сыночек как? Жив ли?

— Ой, Марфа! Ой, и не спрашивай! Не знаю о нем ничего! Как ушел на германскую войну, так один раз только дома и появился, в аккурат после того, как новая власть настала. Прибежал ночью грязный, исхудавший весь, обовшивленный, в чужой одежде... да ты, Марфа, и сама, небось, помнишь об этом.

— Помню, как же не помнить-то! Серафим Аркадич упокойный ночью Гордея мово разбудил, говорит: кипяти, Гордей, воду, сыночка свово, говорит, мыть буду. Но я-то сама его и не видала, это мне Гордей мой опосля о нем сказывал. А что же было-то опосля?

— Что было? Ушел он от нас. Той же ночью ушел. Взял хлеба и ушел затемно. Боюсь, говорит, что утром увидят меня и как офицера арестуют. Собирался на Дон пробираться. Говорил, там, на Дону, сейчас все наши силы собираются для сопротивления новой власти. И с тех пор ничего я о нем не знаю. Жив ли, нет ли? Ничего не знаю. Если живой, если возвратится обратно, а и дома-то уже нашего нету, сожгли дом, и отца уже тоже нету, — Екатерина Михайловна тихо заплакала.

Софья тоже помнила ту ночь, когда с войны вернулся Владимир. Она проснулась от шума и, увидев брата, кинулась к нему, начала целовать. А он потом строго-настрого запретил ей говорить, кому бы то ни было, что он домой приходил. И ушел той же ночью.

— Страшное время наступило, страшное! Идет война, брат на брата пошел, сын на отца, и никуда от этой войны не схоронишься, — вздохнула Екатерина Михайловна, вытирая слезы.

— Видать, к концу света идем. В Писании сказано, как брат на брата войной пойдёт, так свету конец будет,— произнесла Марфа Антоновна.— Бога молить надоть! Он один наш заступник и милосерд! А боле надеяться не на кого, кроме как на Бога...

Вдруг Софья отчетливо увидела, как со стороны маленькой комнаты, из темноты, вышел Акимка. Он подошел к Екатерине Михайловне и Марфе Антоновне.

— Зря вы так, тетенька, говорите, что брат на брата войной пошел. Я-то вот не пошел войной на своего брата Кольку,— проговорил он, обращаясь к Марфе Антоновне. Затем повернулся к Екатерине Михайловне.— И вы, барыня, зазря по мне плакали. Я же теперь в небесном отряде живу, и мне там дюже хорошо.

Вдруг Акимка куда-то исчез, а вместо него оказался Серафим Аркадьевич. Он подошел к печи, внимательно вглядываясь в лицо дочери.

— Ты, дочка, спрашиваешь, что это за чувство такое, которое тревожит тебя? Которое не дает тебе покоя? Это — любовь! Это она пришла к тебе, дочка! — сказал Серафим Аркадьевич и улыбнулся.— Ты береги ее, дочка, эту свою любовь! — сказал он. Затем развернулся и направился к Екатерине Михайловне и Марфе Антоновне.

— Папа! Папа! Ты, оказывается, живой?! Я так рада, что ты вернулся к нам! Пойди же, не уходи! — Софья хотела слезть с печи и подбежать к отцу, чтобы обнять его и остаться с ним, но вставшая со скамьи Марфа Антоновна подошла к печи и преградила ей дорогу.

— Ты не мешай им. Пусть они поговорят друг с другом, ведь они так долго не виделись! — сказала она.

Софья послушалась Марфу Антоновну и осталась лежать на печи, изредка лишь наблюдая за счастливыми, улыбающимися родителями.

— Мама, ты так давно не улыбалась! Я очень рада за вас с папой! Рада, что вы опять вместе! — воскликнула она.

— Да, Сонечка, мне сегодня как никогда радостно! Ты знаешь, Сонечка... Сонечка... Сонечка...

Софья проснулась от того, что Екатерина Михайловна трясла ее за руку. Софья очнулась, приоткрыла глаза.

— Сонечка... просыпайся, уже утро.

— Я так хорошо спала, и мне приснился удивительный сон, как будто...

— Сонечка, потом расскажешь о своем сне. Вставай, нам пора собираться в дорогу. Гордей Никифорович уже запряг лошадь.

Перекусив наскоро вареной картошкой и квасом, выехали со двора.



Вячеслав Лямкин
(г. Бийск)

ОТПУСТИ ЕГО НА НЕБО, ДУША, ОТПУСТИ...



Лямкин Вячеслав Михайлович, молодой прозаик, кандидат в члены Союза писателей России, лауреат православной литературной премии им. Святителя Макария, митрополита Алтайского, технический редактор журнала «Бийский Вестник».

Поселок приютился меж двух полосок соснового бора на краю райцентра. Построенный в начале восьмидесятых для работников рыбхоза, тянется он последними домами к свалке, скрытой между пригорком и поймой реки.

В былые времена рыбное хозяйство «гремело» в округе. Но от прежнего здорового пульса жизни не осталось и следа: некогда прибыльное дело во время неразберихи девяностых развалили, растащили «на куски». Людей оставили без дела, землю сдали в аренду фермерам, пруды спустили, технику распродали.

Тихая рутина затянула поселок. Будоражили однообразную жизнь поселян редкие ныне свадьбы, да похороны...

Первой почувяла недоброе, по старости лет не ходившая дальше своей лавочки, бабка Илясиха.

Приснился ей сон: березка склонила ветки к речке Фунтовке, а с листьев, словно слезы, потекли капельки воды.

Начали соседки гадать — хороший сон или плохой, но Илясиха шепнула:

— Ждите вдову.

Эхом разлетелось бабкино пророчество по поселку, а через неделю увезли на погост Михаила «Дороги»...

1

Прозвище Михаилу дали мужики: во время гулянок он брал в руки гармошку и, прищурив один глаз, склонив голову к мехам, начинал наигрывать и тихо петь:

— Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги,
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей...

Песня грустью заполняла сердца людей.

Мария приходила на звук гармошки. Пыталась увести мужа домой. Пальцы Михаила быстрее начинали бегать по кнопочкам, и он проникновенно затягивал:

— Ох ты, Маша, ох, Петровна —
Васильковые глаза,
Далека к тебе дорога,
Жаль пешком прийти нельзя...

Мария, уперев руки в бока, на это отвечала:

— Что, коня тебе привезь? Щас, разбежалась. Подымайся!.. Пошли!

Михаил нехотя вставал, долго прощался. А после, следуя за женой, снова начинал насвистывать любимую мелодию, иногда выкрикивая: «Эх, дороги!..»

После сокращения с рыбхоза, Михаил, отказавшись от предложения устроиться в райпо на ЗИЛ-130, купил гнедую кобылу и весной пошел пасти коров.

Осенью или в зимние месяцы на Михаила накатывало уверенное внутреннее побуждение устроить на душе праздник. Выпьет и с улыбочкой, грудь нараспашку, пойдет по поселку. Без приглашения забредет в чужой двор, присядет на крыльцо, закурит сигарету, заведет беседу...

Кто-то относился к его визитам снисходительно, иногда угощая Михаила стопкой самогонки, а соседка — Татьяна Дымова, боясь загула мужа, прогоняла гостя веником, приговаривая:

— Мишка, паразит! Чего приперся!? Иди лучше делом займись!

Но если Татьяна для проформы читала нотации, то с новыми соседями Михаил вздорил основательно. Прежние соседи уехали на север. Их половина дома долго пустовала, пока ее не купили пенсионеры из города: глухая бабка Валя и важный дед Анатолий. Будешь тут важным — сын «крутой», на большом джипе к родителям приезжает.

Городские сразу начали наводить свои порядки. Заправлял дед Анатолий. Сделал Михаилу замечание:

— Кто тут строил? Руки ему оторвать!

Михаилу обидно стало, он тоже принимал участие в строительстве. На кране брус подавал.

Вдобавок дед Анатолий помой начал лить на бревенчатую стену стайки, в которой Михаил держал лошадь.

В отместку Михаил посадил у забора хмель. Хмель в лето разросся и перемахнул через двухметровую жердь на сторону соседей.

Дед разозлился. Ругаясь, отправил супругу обстричь вьющееся растение. Михаил, заметив соседку, выдрал за баней куст крапивы, подкрался к забору и хлестанул бабку по рукам.

Жил Михаил бескорыстно. Не стремясь к накопительству, с детства познав нужду, отдавал последнее первому встречному.

Часы командирские — память об отце-фронтовике — подарил парню, что остановился помочь ему в морозный зимний вечер поменять проколотое заднее колесо на грузе ГАЗ-52. Отблагодарил за помощь, сказав:

— Держи, держи, я знаю, они достались хорошему человеку!

В обновке Михаил чувствовал себя неловко, и с нетерпением ждал момента облачиться в привычную робу. А новой одеждой мог распорядиться по воле сердца.

Многие Михаила осуждали, говоря, что в нынешнее время надо «бежать за рублем», а кто-то завидовал широте его души, умению легко отдавать, не оглядываясь назад, не задумываясь о завтрашнем дне.

Так бы и жил Михаил некрещеный, со «своей философией», в неугомонной жизни, пока вдруг не начал по ночам задыхаться.

По настоянию жены пришлось ездить по больницам. Реже стала звучать «Эх, до-

роги!», а «Татарская» в его исполнении слышалась с грустинкой, да и по-другому мелодия не могла звучать, если всю живность свел со двора. Сил управляться уже не хватало. Продав и лошадь с жеребенком. Когда приехали покупатели, долго гладил гнедую по белой звездочке на лбу, стараясь не смотреть в ее полные слез глаза. Она выручала — в пьяном бреду сколько раз заснет Михаил в саях, а лошадь, понутив морду, привозила его домой, не дав замерзнуть на морозе. Один год, когда сломалась машина, пришлось на кобыле возить солому с полей, тем самым прокормив коров в зиму. Сведя гнедую со двора, с неделю заливал печаль зеленым змием. Видно, тяжело приходилось, раз решил продать друга.

Долго его не видели. Бабка Илясиха, знающая последние новости на поселке, говорила, вроде, в больнице лежит.

Появился Михаил на Успение.

Веселый, бравый, полдня бегал по поселку, со многими поговорил, а когда сосед Иван Дымов пришел с работы, собрался к нему, но, не дойдя до калитки, упал на землю...

Проводить Михаила в последний путь пришло немало народа — и кто с ним работал, и кто жил рядом, и кто любил, и те, кто судил. Пришла и новая соседка бабка Валя, обрывавшая хмель, принесла тысячу, вложила в руки Марии, оправдываясь: «Я же и не знала, что он у тебя так болел...»

Илясиха, приведенная под руки, долго побряхтывала, наконец, потрогала покойного за ноги, чтобы не снился, и сказала: «Мишка добрый был».

По обычаю гроб пронесли по улице, загрузили в пассажирскую «Газель» и увезли на кладбище.

Поминальный обед отвели в столовой. Сейчас многие этим пользуются — удобно, меньше хлопот, только давай по триста рублей за человека. В городах зачастую и домой покойного уже не везут, а прощаются в специальных залах — от новых веяний незаметно угасает искорка того таинства, значимости и основательности, веками копившихся в традициях погребения и поминания.

В сохранении душевности село, деревня — держат последний рубеж, но и здесь засматриваются на город. А пока, и может к лучшему, найдется, кто шепнет на ушко: «Родственникам гроб нельзя нести», или «Стойте, вынесут из дома, после пойдете». И найдется не боящаяся суеверий женщина, которая помоеет пол после выноса.

С кладбища родные и близкие приехали к Марии домой. Долго сидели за столом в дальнем углу ограды, поминая Михаила. Забежал помянуть сосед Толик Куприянов, не ездивший в столовую, заглянул перехватить стопочку Ростик, пасший в одно время с Михаилом коров.

Поселок прощался с человеком.

На следующий день дети разъехались. На прощанье дочка обещала приехать на полгода отцу. Мария понимала — с Севера далеко добираться.

На сороковинах к Марии подошла соседка Татьяна.

Накануне видела она во сне покойного Мишу и Андрюху Валенка, сгоревшего полгода назад от спирта.

— Вижу я, Маша, Мишка твой на гармошке играет, а Андрюха Валенок рядом вытанцовывает. Валенок машет мне рукой и говорит: «Танюха, иди с нами потанцуй!» А я, не поверишь, оцепенела — ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Потом отпустило, я им говорю: «Ладно, ребятки, вы тут посидите, а я пойду, а то корова не доена!», и проснулась.

— А я его, Тань, вообще не вижу. Приснился бы, улыбнулся или пошутил... Изнывает душа! Покоя не могу найти.

Разбередив душу, Татьяна ушла домой, а Марии на полночи слез не утереть. Поутру, решив развеяться, пришла Мария к бабкам на лавку. Принесла блинов.

— Садись, сердешная! — встретила ее Илясиха.— Ну, рассказывай про твою жизнь-бытьё, гостей проводила?

— Вчера уехали! Одна, баб Ань, осталась — реву белугой. Глаз сомкнуть не могу. Тяжко.

— Маяться прекрати! — дала совет Илясиха.— Хорош его слезами заливать. Держишь ты его, Машка, не отпускаешь. Отвлекись надо. Поезжай к сыну в город, поживи!

— Думаешь? — засомневалась Мария.— Что я им там мешаться буду!

— Не к дядьке чужому поедешь, к сыну родному. Чай не выгонит!

Поразмыслив над словами Илясихи — решила. Позвонила сыну и напросилась. Не предупреждала о приезде, а именно просила разрешения:

— Коленька, в гости к вам приеду? Погощу немножко?

— Мам, мы целыми днями на работе, Ритка в школе, а вечером у нее плавание, будешь сидеть в трех комнатах в телек пялиться! Если горишь желанием, приезжай! А то скажешь — отговариваю!..

После телефонного разговора Мария приступила к приготовлениям. Первым делом пристроила к соседям собаку Тяпку, единственную оставшуюся уличную живность, Татьяне Дымовой наказала поглядывать за домом и кормить иногда кошку.

Слила воду из труб, чтобы не разморозить систему — зиму обещали раннюю. Обвела взглядом покосившийся забор, обнесенный хмелем, баньку в конце огорода с прохудившейся крышей — так и не дошли руки у Михаила до нее. Сыну сколько раз говорила, покрыть профлистом, а то совсем сгниет, но и ему некогда — на работе аврал. Сарайки старые разобрать бы. Попробовала сама, да с дуру только ногу гвоздем пропорола. Как ни крути, а мужская рука необходима. Первое время звала помогать Сергея, мужа сестры Нины. Раз кран потек — приехал менял, потом розетку на кухне заменил, а затем и самой неудобно стало надоедать по пустякам. Знала — не откажут, но Сергеем и в своем доме дел хватает. Наняла двух мужичков доски старые перепилить, да они в первый же день бензопилу запортачили,— заводиться перестала.

В ночь перед отъездом не смогла сомкнуть глаз. Одиночество, как лакмусовая бумага, четко проявило желание ощутить себя нужной, востребованной, хотелось посвятить себя детям и внукам.

Ветер то стихал, унося в поля неумную силу, то заново, неистовыми порывами гонял опавшие листья по улице, гулко ударял по старым воротам, терялся в вершинах деревьев, переходя в тихий шепот.

Постукивал по крыше дождь, приберегая свою мощь пашням и пастбищам, раскинувшимся за околицей.

А Мария думала, правильно ли поступает... Надо ли ехать...

Иконка Божьей Матери из переднего угла святым безмолвием подсказывала: смирение — сильное лекарство.

Мария зажгла перед образами свечку, прочитала молитву, и тропарь за усопшего мужа. Но успокоение не пришло...

Кошка, заслышав шорох, оставила нагретое место за печкой.

— Ты чего соскочила! — бросила ей вслед Мария, накинув на плечи пуховую шаль.

Спугнув мелкого мышонка, любимица Симка юркнула в подполье, и оттуда пару раз мяукнула.

Свеча горела, и Марии казалось, сейчас загремит на кухне посудой Михаил, заваривая крепкий чай...

Вздрыгнула — действительно брякнуло на кухне. Не сразу дошло — кошка залезла на стол...

Она достала из шкафа кофту, в которой последнее время ходил муж и, уловив родной запах, уткнулась лицом в шерстяную ткань и разрыдалась.

— Сложно мне жить без тебя, Миша! — в отчаянии шептала Мария. — Что ты наделал? Бросил!.. Оставил одну на старости лет!..

2

На сей раз калитка ударила по-другому. Точно не ветер.

Звякнула защелка.

Соседка Татьяна, подоив коров, пришла проводить Марию на первый автобус. Присели на дорожку.

— Колька как поживает? Не успела спросить...

— Потихоньку! Сейчас на заводе при хорошей должности. Сноха Маринка там же трудится, только в бухгалтерии. Она его туда и пристроила!

— Дружно живут?

— Я шибко к ним не лезу! Самостоятельные. Нужды не знают — трехкомнатную квартиру в центре купили. Машину за полмиллиона позволили. Маринка в шубе ходит. И отдыхать раз в год за границу мотаются. Хорошо у сына, хорошо!..

— Ну и слава Богу! А мой Андрюха — голь перекатная, опять на Север собрался! Я ему говорю, устройся в лесхоз и при деле будешь!

В робких сумерках вышли из дому.

— Ты, Петровна, звони! За дом не беспокойся, приглядим. А то и вправду приживешься на новом месте! В городе-то чего не жить!

— Спасибо, Танюша! Приеду, обязательно позвоню! Не переживай, справлюсь! Ты про кошку, главное, не забудь!..

— Бог с тобой! Иди уж... — перекрестилась Татьяна и помахала рукой.

Еще раз взглянув в сторону дома, Мария горько вздохнула, смахнула непрошенную слезу и быстрым шагом направилась в сторону автобусной остановки.

Очертания промоченных и потемневших от влаги домов, бань, неуклюжих сараюшек, огородов, окаймленных зарослями ивы, казались расплывчатыми и, растворяясь в пугающей осенней мгле, превращались в безмолвных чудовищ.

У дамбы, соединяющей две улицы, ветер цеплялся за заброшенную контору; старенькую водонапорную башню, с переборами снабжающую поселок водой; детский садик, акционерами проданный под квартиры; полуразрушенные гаражи и кочегарку; клуб с разобранной крышей — признаки некогда процветающего предприятия.

Ржавую остановку осветило фарами. Автобус скрипнул тормозами. Остановился. Дверь открылась.

Мария вошла и устроилась недалеко от входа. Поставив в ноги дорожную сумку, поправила на голове легкую беретку.

— Теть Маш, далеко собрались? — окликнул ее шофер.

— К сыну, Леша, еду, в город!..

— Надолго?

— Не знаю еще! — ответила Мария.

На следующей остановке вошли люди. Кто-то помянул ночную стихию:

— Ну и погода! Всю ночь задувал, чертяка! Рубероид со стайки сорвало!

От поселка до районного автовокзала минут двадцать езды, проехали через лесхоз, забрав ночную смену. По пути пришлось сделать крюк — на просеке ветром повалило дерево.

По дороге мужики начали обсуждать перемены на предприятии.

— В ООО теперь работать будем! Дожились!

— Не говори! Лес в частные руки отдали! Под коммерсантскую пилу! Частнику воля — направо-налево его фуговать! У нас дорога одна — в Казахстан да Китай кругляк прут. Нет, чтобы самим перерабатывать.

— А слышали, лесников-то упразднили. Перевели в рабочие по отводу лесосек и тушению лесных пожаров.

— Узнал бы мой дед, какой беспредел творится, уже бы давно с ружьем у конторы стоял! Бывало, зеленую форму с нашивками на воротнике наденет и почет ему, и уважение, а теперь чем гордиться? Купленной за свой счет камуфляжной спецовкой...

На вокзале народу мало.

Поодаль стояли две иномарки — «бомбилы» набирали людей.

— Место есть до города! Поехали! — предложил водила в серенькой куртке.

Мария покачала головой.

Бомбила, сооротив недовольную мину, отошел, не стал настаивать. И на том спасибо!

Ждать автобус до города оставалось недолго.

Села на проходящий рейс из Романово. Кондуктор резким движением надорвала билет и указала в конец автобуса:

— К окошку садитесь!

Умостив сумку в проходе, она с трудом добралась до места. Полная бабенка в зеленом драповом пальто, явно ей маловатом, с ярким макияжем и со стертым на ногтях лаком, пропуская ее к окну, буркнула:

— По ногам аккуратней!

Автобус тронулся. Бабенка, широко расставив ноги, не оставив Марии пространства, разговаривала с женщиной, сидящей впереди.

Мария смотрела в окно. Проехали гостиницу, двухэтажки, заправку, замелькали деревья, и в унисон им далеким прошлым пронеслись перед глазами, как эти сосны, дни ее молодости...

Когда не стало мамы, Марии исполнилось четыре годика. Мама умерла после кесарева — врачи оставили в утробе кусок марли, и начался абсцесс. Новорожденную назвали в честь родительницы — Нина.

Отец Петр Петрович — мужчина видный, начал обустривать личную жизнь. Женщинам он нравился. Семь мачех побывали у них дома, но подолгу не задерживались.

Первая мачеха очень старалась упечь детей в детдом.

Петр Петрович вышвырнул ее вместе с вещами на улицу, не прожив с ней и года, на прощанье обозначив свою позицию: «Детей никогда не брошу!»

После в его дом переехала теща — баба Лена, и посвятила всю оставшуюся жизнь трем внукам — Маше, Рае и Нине.

Последнюю мачеху Мария невлюбила пуще остальных — поругавшись с отцом, вздорная Анисья бежала и снимала с девчонок ею сшитые платья.

Отец запомнился строгий и справедливый. Учил Марию отвечать за свои поступки:

— Ты старшая! С тебя спрос вдвойне! — поучал он ее.— Но главное — сестер береги!

Раз досталось ремня. По учебе нахватала двоек. Не хотела отцу показывать дневник с плохими оценками, завела новый, только с пятерками. Хороший дневник получился: по математике пятерки, по русскому пятерки, по остальным предметам пятерки. Отец смотрел и нарадоваться не мог, говорил:

— Учись, дочка! В институт неучей не берут! Неучи коровам хвосты крутят.

Может, ее проделка и осталась бы в тайне, пока она не перепутала дневники. Классному руководителю сдала на подпись поддельный экземпляр.

Отца вызвали в школу. Придя домой, он молча вытащил ремень из штанов и выпорол, отбив охоту обманывать.

Петр Петрович работал главным инженером на ремзаводе. Заканчивался год, и он, сломав ногу, лег в больницу. Дело близилось к выздоровлению, когда позвонил директор и слезно попросил выйти на несколько дней, доделать отчетность. Петр Петрович согласился — потихоньку мог ходить на костылях.

В обед, решив развеяться от бумажных дел и заодно проверить отгрузку угля детскому дому, происходящую на площадке, прогуливался по территории.

Декабрь выдался студень, и туман от долго стоявших морозов, казалось, сгустился еще сильнее. Тракторист Иванчук, замерзший в накалившейся от холода кабине и потянувшийся за «сугревом», стоявшим у него за сиденьем, не заметил Петра Петровича. Спихнулся поздно. Не смог остановить технику.

Говорят, судьбу обмануть невозможно...

Казалось, протяни руку и почерневшая от времени береза у окна снова станет молоденькой и стройной, а в жизнь вернуться школа, замужество, рождение детей, но прошло время...

Вместо девчушки с осиной талией, звонким голоском и озорным взглядом в дребезжащем стекле пропахнувшего солярой старенького автобуса смотрит на нее женщина лет шестидесяти, угловатая, неказистая, с потухшим взглядом.

Сколько Мария себя помнит, никогда не сидела в праздности. Возвращалась в поздний час с работы из магазина, и находила занятия: готовила ужин, спешила подоить коров, напоить телят, полола грядки, стирала. Отдавая последние силы семье, не замечала усталости, ускользающей молодости.

За внешним видом, конечно, следила — даже Жданку встречать пойдет, на скорую руку карандашом глаза намалюет, ресницы подкрасит, в галоши прыгнет и к дамбе, встречать стадо. В центр редко выбиралась, хоть на поселке ходить не зачухонкой...

Отодвинув занавеску, Мария рассматривала мелькавшие мимо многоэтажные дома, торговые центры, автомобильные салоны, горожан, спешащих по делам. Давно не ездила в город, а он изменился...

— Эй, женщина, вы меня слышите? — бабенка в зеленом пальто толкала ее в плечо.— Конечная. С вами ничего не случилось? А то бледная вы какая-то! Вам помочь?

— Задремала, видно...Спасибо! Не беспокойтесь.

Бабенка, подхватив два тяжелых баула, «выпала» из автобуса. В сумках звякнули банки.

Мария вышла следом. Несколько мгновений они стояли молча, определяя дальнейший путь.

— Вам куда? — машинально спросила Мария.

— На улицу Крупской. К общагам.

— Нам немного по пути. Давайте вашу сумку. С одной стороны возьмусь. А вы с другой!

Вышли с автовокзала.

Город встретил шумом, непривычной суетой, ревом автомобилей. Накрапывал дождь.

Поравнялись с киоском, где продавали беляши и чебуреки.

— Меня Люда зовут! — новая знакомая поставила сумки на тротуар.

Мария тоже представилась.
— Слушай, постой минутку! Покарауль, я мигом! — попросила Люда и направилась к киоску.
Марию сзади окликнули.
Она обернулась — перед ней стоял мальчишка цыганенок. Он протянул вперед руки лодочкой.
— Тетенька, дайте сколько не жалко, на хлебушек не хватает!
Жалостливый голосок тронул душу. Она покопалась в карманах плаща, сыпанула мелочи в ладони, и мальчишка исчез в толпе.
— Шныряют тут всякие! — бурчала Люда, держа в руках горячий чебурек и пластиковый стаканчик с кофе «три в одном». — Пускай идут работать! Лоботрясы.
— На хлеб не жалко! — попыталась оправдаться Мария, но уже жалела о поступке — на убывающую луну не подают.
— Нечего их поваживать. Ты думаешь, он хлебушек купит? Фигу с маслом! Вон побежал, сигареты в киоске поштучно возьмет или «чупа-чупс» — сосалку эту нехристианскую! — Люда умостила на сумки и приступила к поеданию чебурека.
Заметив не одобряющий взгляд спутницы, пояснила:
— Сахарный у меня. Иной раз ни че... А иногда затрясет, в глазах потемнеет, хоть стой, хоть падай! Обязательно надо чего-нибудь перекусить. У меня тетка с аппаратом ходит, которым сахар в крови меряют. Упал уровень — сразу за стол, а иначе не выжить!
— На улице Крупской-то к кому? — поинтересовалась Мария.
Жирный сок капнул Люде на штаны, тесно облегающие полные ляжки.
— Дочка старшая в педу учится, — она попробовала затереть следы от капель салфеткой. — На учителя начальных классов. Провиант ей везу. Да деньжат маленько подкинуть. А то, аж в середине августа уехала, домой больше не приезжала. Только по телефону говорим... Их у меня, вообще, четверо. Две девчонки еще и пацан...
Люда, швыряя, обжигалась горячим напитком.
— А ты че тут?
— Родных приехала навестить...
— Хорошее дело! С родными нужно связь держать. А то вдруг денег придется занять... ха-ха. Че смотришь? Смех смехом, а шуба кверху мехом. Вон, у Васьки моего брат в Новосибирске живет, бизнес у него свой! Два раза — на день рожденья и на Новый год созвонятся и то ладно! А я ему говорила, звони, в гости зови, общайся, вдруг пригодится! И что ты думаешь? Верке поступать, у нее бал по ЕГЭ средний, ну я и говорю своему, звони брату, у него, мол, связи в комитете образования. Ну и завертелось, нам потом с районной администрации позвонили, говорят, приходите, вам целевое направление предоставим...
— Трудно с четырьмя-то? Время нелегкое... — спросила Мария.
— Ничего, справляемся потихоньку. Скотиной обзавелись. Хорошо, мой на тракторе работает. Сена привезет, соломы. В лето кормим, в зиму колом. Кого на еду, кого на продажу...
— Слушай, подожди минутку, я в кустики отойду, а то чувствую — не дойду... — засутилась Люда и, вручив Марии недопитый напиток, нырнула в проулок.
Мария разглядывала мемориал, когда к ней, выйдя с привокзального рынка, подошла цыганка.
— Ай, дорогуша, вижу горе у тебя! За пятьсот рублей всю правду скажу!
Молоденькая цыганка сверлила ее острым взглядом.
Розовая бумажка машинально оказалась в руках Марии и тут же скрылась в черной куртке гадалки.
После цыганка приблизила руку Марии к себе.

— Вижу, дальняя дорога тебя ждет! Неприятностей много! Дом ты продала. Денег заняла мужчине... Высокий такой! Возвращать не хочет! Пятьсот рублей надо! Сделаю так — завтра же принесет обратно!

Еще одна розовая купюра с изображением Архангельска скрылась в кармане кожаной куртки.

«Надо же, какая сердобольная женщина, — думала Мария, — сразу увидела, что у меня на душе!»

Марии казалось, что она рассказывает ей про ее Мишу.

Цыганка же водила своей шершавой рукой по ладони Марии и не отпускала взгляд.

— Будет тебе туз козырный! — вещала цыганка. — Удача тебя ждет! Самое главное — не спугнуть ее! Ждет тебя прибыль в конце недели. Приманить надо. Для этого тысячу не пожалей! Троекратно вернется тебе твоя щедрость!

Купюра с изображением Ярослава исчезла в руках цыганки.

Но вдруг лицо гадалки исказило неприятной гримасой.

До Марии донесся словно издалека голос Люды, она ругалась на какую-то чуму.

— Ах ты, чума страшная! — Люда, еще со стороны увидев картину выуживания денег, на ходу скинув с себя пальто, начала хлестать им цыганку. — Подзаработать решила! Как-нибудь проживем без твоих гаданий! Изыди, нечистая!

Ворожея отскочила в сторону ошарашенная появлением Люды.

— Прокляну! Порчу наведу!

— Я те наведу! Я тебе сейчас такую наведу...

Она вцепилась обеими руками в волосы цыганки.

Мария, стоявшая до этого словно в оцепенении, кинулась разнимать рычаще-кричащий клубок из двух женщин, забыв о правиле: двое дерутся — третий лишний... В суматохе Марии досталось по макушке, слетела беретка...

Кое-как удалось оттащить Люду в сторону. Цыганка, плюясь, посылая проклятия, скрылась на территории рынка.

— Чего ты с ней сцепилась? А то, верно, еще наведет порчу какую!

— Думаешь, боюсь я ее порчи! У нас в соседях цыгане живут. Первое время натерпелись от них. Два раза коней со двора сводили. Пока я вилами к стенке Яшку не приперла. Егояния мне каждый день сулит гадости всякой. Ничего, жива, как видишь! Защита на мне — поэтому я их и не боюсь! А ты чего уши развесила? Много она с тебя вытащила?

— Пустяки! Пойдем, нечего с ними связываться...

— Говорят улица Крупской отсюда не далеко? — спросила Люда. — Верка, вроде, объясняла. Говорит, от вокзала прямо, дорогу перейдешь, в сторону танка повернуть и на проспект Красногвардейский, кажется...

— Красноармейский, — поправила ее Мария, — потом направо за Молодежной.

— Верка у меня самостоятельная! — не унималась Люда. — С детства к труду приучена. Поступать собралась, я ей сразу сказала: «Доча, езжай! Мы с отцом вытянем твою учебу! Хоть кто-то у нас с образованием в семье будет!» И младшенькие детки сейчас на нее смотрят и тоже начали к учебе интерес проявлять.

В кармане у Марии зазвонил «сотик». Голос сына звучал гулко, взволновано:

— Мам, ты доехала?! Встретить не могу. На работе занят... Возьми такси!

— Коленка, не беспокойся! Адрес знаю, доберусь. Не переживай! Делай свои дела.

— Кто звонил? Сын? Учится? — поинтересовалась Люда.

— Сынок! Он у меня взрослый! У него семья, работа. Отучился уже. Тоже баулы ему собирала!

За разговорами и дорога показалась короче. Тяжесть сумок не чувствовалась. У общежития Люда спохватилась.

— Слушай, я тебя задерживаю? А то иди, я уж тут справлюсь!

Мария ее успокоила.

— Да брось ты! Тут осталось-то.

С новой знакомой немного отвлеклась. Если честно, не хотелось ей, приехав к сыну, находиться в четырех стенах одной. Николай с Мариной на работе, внучка, наверное, уже ушла на учебу, поэтому Мария до последнего оттягивала момент, выжидая время. Да и с Людой было легко общаться, хотя на первый взгляд она ей не понравилась.

— Надо позвонить, спросить. Кажется, первый корпус,— сказала Люда.

Она достала телефон.

— Не отвечает! На парах, наверное. Пойдем, спросим на вахте. Может, без нее пустят?

На улице стоять зябко. Хоть дождик и перестал капать, но от сырости мурашки бежали по коже.

А вахтерша пила чай.

— Извините! Скажите, дорогуша, Заботину Веру нам надо увидеть! — шумно выдохнула Люда, опустив сумки на кафедру.

— А вы кто? — в голосе женщины, на вид немного помладше Марии, проскользнуло недовольство. Отвлекли от приятного момента.

— Мать я родная! Может, поднимусь, подожду ее, супчик сварю, а то прибежит с учебы голодная!

— Сейчас гляну! Заботина. Вера Заботина,— вахтерша водила ручкой по журналу и вдруг, подняв глаза, сказала: — А она еще в начале месяца съехала.

— Да не может того быть! Я же с ней на днях разговаривала.

Вахтерша пожала плечами:

— Без понятия!

— Адрес не оставила? А причину хоть сказала? Почему не выяснили?! У вас ребенок пропал, а вы без понятия! — возмутилась Люда.

— Женщина, не шумите! Для вас она ребенок, а к нам взрослые люди приезжают! — вахтерша приняла серьезный вид, готовясь принять бой.— Подождите, видите, девушка идет, вроде с ней в комнате жила,— она обратила внимание на худенькую девчонку, проходящую мимо.

— Настя, постой минутку! Где сейчас Вера Заботина?

У девчонки открытое доброе лицо в конопушках. Видно, врать еще не научилась, сразу отвела глаза в сторону, заколебалась на мгновения:

— Они с подружкой на квартиру съехали,— залепетала девчонка,— живут в районе ВРЗ, а на работу устроилась в отдел — сотовыми телефонами торговать на Старом базаре.

— В смысле, она учебу бросила?! — Люда обомлела.— Ох, я ей задам! Мне бы только до нее добраться! А мне чесала, мама дела идут хорошо, педагогика уж сильно нравится...

Люда не совладала с эмоциями. Выругалась смачно, иной мужик постесняется подобное сказать. Но сразу извинилась.

— Можно мы сумки у вас здесь на время оставим? Сегодня или завтра заберем.

Вахтерша согласилась, предупредив:

— В двадцать ноль-ноль смена происходит. Если не успеете, то спросите у парницы. Я ее предупрежу.

На улице Люда не унималась:

— Ну, и где ее искать?! Поехали на базар. Ума не приложу. Может, случилось чего?! А? Скажи твое мнение?

Мария неоднозначно пожала плечами.

Вышли на проспект, сели в автобус, спросили у кондуктора — на какой остановке лучше выйти.

На Старом базаре многое изменилось. Мария ностальгировала — в девяностых приезжали сюда с детьми покупать одежду и обувь к школе. Прохаживались между торговых палаток. Мария приценивалась, всегда торговалась:

— Если будем брать, двести скинете?..

До сих пор живы ощущения от этих путешествий в город — сродни ожидания праздника. Особенно радовались ребяташки: не каждый день ездили за обновкой, а если хорошо поторговаться, еще и на мороженое детям оставалось.

Сейчас Мария оглядывалась по сторонам и удивлялась. Повсюду модные бутики с яркими вывесками.

Люда, с трудом поспевая за своей спутницей, то и дело останавливалась, прикладывая руку к боку. Тяжело дышала, будто загнанная лошадь, но продолжала путь.

В дальнем закутке наткнулись на рекламный плакат «Сотовые телефоны и аксессуары. Ремонт. Обмен».

Зашли в помещение. В одном ряду несколько отделов: в первом продавалась канцелярия, во втором посуда, в третьем по счету — телефоны. Дальше тоже отделы, но Мария не обратила на них внимания, а обернулась к Люде, заметившей дочь еще от входа. Мария успела только негромко сказать:

— Люда, не горячись!

Но тут же была отодвинута в сторону.

Вера — полная противоположность матери: высокая, статная — точно не ожидала увидеть ее перед собой:

— Мамуль! Ты?

— А то кто ж! — подбоченясь, Люда встала напротив прилавка.— Красотуля, ничего не хочешь объяснить? Значит, я с полными сумарями за столько верст полкаю к дочери родненькой, а она даже на телефон ответить не соизволит. Чего молчишь?!

Вера растерялась, оценив ситуацию, сказала:

— Идите на улицу. Я сейчас.

Закрыв отдел и повесив табличку «Перерыв. Тридцать минут», она вышла за ними.

— Ты сумки в общаге оставила или на вокзале? — спросила у матери.

— В общаге. Хорошо, Мария помогла! Одна бы я сроду не нашла! Город не знаю!

— Поехали, заберем. У меня переночуешь, завтра уедешь.

— Ты мне скажешь, чего случилось? Правду вахтерша сказала — учебу бросила?

— Мам... — Вера посмотрела на Марию.

— Да говори уже! Не таись! — Люда остановилась в ожидании ответа.— Ну!..

— Я беременна!

Марии было неловко оттого, что стала свидетельницей такого откровенного разговора. Поэтому и шла поодаль попутчиц, преднамеренно замедляя шаг. Но Люда то и дело останавливалась, и расстояние снова сокращалось. И если бы не сумка, за которой нужно было вернуться в общежитие, Мария давно бы оставила новых знакомых наедине.

— Калганом своим надо было думать, а не энным местом, когда в койку ложилась. Презервативы-то знаешь, для чего придумали...

Мария смотрела на Веру и переживала вместе с ней. Девчонка, одетая в легкую курточку, то и дело оголявшую поясницу, шла молча.

«Так почки недолго простудить», — думала Мария, невольно слушая не унижающуюся Люду, остановившуюся на трамвайной остановке:

— Кто отец, спрашиваю? Чего молчишь?!

— Матвей... Мы с ним в клубе познакомились... У него иномарка, он делом занимается...

— Тоже мне, нашла перед кем ноги... А Толик как же? Что соседи скажут...

— Мама хватит!..

— Что мама?! Мама, значит, из последних сил бьется, дочку в городе учит, а она...

— Я работать буду! Матвей обещал помочь...

— А жениться он не обещал?!

— Если ты переживаешь, что я сяду вам на шею, то не беспокойся. Мне от вас ничего не надо, сама справлюсь! Как-нибудь подниму ребеночка на ноги.

— Сейчас без образования даже полы не берут мыть!

— Я на заочное перевелась...

— Мать честная, и в кого ты у меня уродилась!..

Забрав сумку и распрощавшись с Людой и Верой, Мария дошла до остановки, долго сидела на потертой изрисованной скамейке, ожидая автобус, и размышляла, как много таких наивных девчонок, как Вера, приезжают из деревни в город, у них начинает кружиться голова от свободы. Она искренне сопереживала Вере и надеялась, что Люда со своим взрывным характером уступит дочери и будет ей помогать. И что все у них будет хорошо.

После Мария переключилась на себя и думала, чего же ей надо — одиночества или общения, или чего-то другого... Невольно заметила — проходим никакого дела до нее, их не волнует ее облик и, более того, состояние души... Безразличие горожан было в диковинку. Снова позвонил сын. Сказала, подъезжает.

К автобусной остановке подошла женщина с двумя ребятишками. Мальчиком и девочкой. Они держались за руки. Девочке лет одиннадцать, мальчишке годика четыре, он, не переставая, капризничал, вырывал руку у сестры. Девочка его одергивала, морщила носик, крепко держала брата и не отпускала.

«Возраст, когда дети наиболее нуждаются в маме!» — пронеслось у Марии в голове, и она представила взрослых сына и дочь, уехавшую жить на Север. Оставила доченька ее одну, свила гнездышко где-то в чужих краях, видятся они редко, в лучшем случае раз в год. А может, Марии вернулись теперешним одиночеством слова, неоднократно повторявшиеся ей при детях: «Вот выучим вас и для себя с отцом проживем, а то все на вас тратимся!» Так и получилось, дети выросли, обзавелись своими семьями, и они с Михаилом большую часть времени проводили вдвоем. Живя для себя, стали больше ценить путь, пройденный вместе, но нет-нет да замечала Мария, что с нетерпением ждала звонка дочери или когда приедет сын и привезет внучку. И вспоминались эти, сейчас кажущиеся глупыми, слова, и думалось, как такое могло прийти в голову. Если, не дай Бог, случись какое несчастье, то последние портки отдаст, чтобы помочь детям.



Алексей Яшин
(г. Тула)

КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ ИЗ ВОДОПРОВОДА
Историческое сказание от Гостомысла до
наших дней* (окончание)



*Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата
И вечно арфе не звучать?*

В. А. Жуковский

◆ Но еще за пару лет до паскудного конфуза тулуповские писари, озаренные одушевленным даром самодостаточного чувствования — это которые стараются не в ногу со всеми маршировать, — как-то Альбатрос и ненашего Тулуповского леса происхождения Степной Волк, а также мокшанский уроженец Сказочник, в междусобойных частных рассуждениях остерегали по части Лошака. Дескать, начал тот свои писчебумажные упражнения с верноподданнических сочинений, в каковых, совсем крошечно либеральничая по части соленых арбузов, утверждал правильную линию светозарного продолжения старинных легенд Сибирского леса с перенесением оных на нашу обобщественную действенность. И дальше выдерживал: за десяток с лишком лет такую линию не искривлял. Но в самое последнее время общение с тулуповским бомондом, главное — ежедневные шти с парной убоиной с рынка, повернуло его раньше резонные мысли и никого особенно не задевающие чувства в подозрительную вседозволенность. В прошлом годе и вовсе напечатал роман о некоем *мимансовом актере*? Само поименование его звучит как-то неблагонадежно, позападнолесски... Как бы чего не вытворил, душа копытная! Может аккуратно рекомендовать Лошаку наведаться по его столичным знакомствам в Кашенку? Или пусть попользуют местные эскулапы по душещипательным хворям...

А вот когда прямо накануне конфуза в воспоследующих друг другу номерах архичитаемых всем Нашим лесом комсомолистских курантов, где Лошак состоит в правлении, тиснули его огненное повествование, в коем действие происходит в Тулуповске, не то что местные писари, но и сочинительский молодежь, вообще все знающие грамоте и почитывающие в один голос ахнули: быть беде! А писари еще много

* Упаси бог подумать, что эта повесть — сатира в конкретный адрес! Только сугубая констатация того явления, что в наступившую эпоху глобализации писатели никому не нужны... даже самим себе. Вообще-то к 85-летию Союза писателей.

чего из матерного лексикона <см. А. Н. Афанасьев. «Народные русские сказки» в 5-ти тт. Т. 4 — Эротические и нецензурные сказки; при всех режимах этот том и т. 5 (о попах) печатались под грифом «Для служебного пользования»> добавили. Простой лесной читатель озадачился слишком вольнолюбивым, превышающим ограничивающие препоны, либерализмом в части рассуждений автора о новозаветном Апокалипсисе, что не включено в обобществительные табели. Но сложно, почти невозможно переоценить праведный гнев тулуповских писарей — всего Тулуписа, исключая, конечно, самого Лошака! В повествовании этом Лошак, выражаясь по-флотски, обрубал все концы, то бишь канаты, хоть как-то ранее связывавшие его с Тулуписом. И первая мысль членов онога такова была: все, шабаш! видать не по чину Лошаку стало прозябать в нашей трущобе и выпросил себе у столичных покровителей из Лесписа хороший чин навроде главного правленца толстых курантов, а то и вовсе в каком лесписовском президиуме. Вот и решил на росстанях по славному нашему общенародному обычаю — от Гостомысла и братьев Рюриков — плюнуть в глаза своим добрым тулуповским заединщикам в писарском прокорме!

Действительно, выложил Лошак на всевидную поверхность всю потайную низину тулуповской писарской жизни, заодно ошарашив наивного читателя сообщением: вместо усерднейшей деятельности по развитию обобществительных мыслей в обществе тулуповские писари всего лишь тускленько резонируют в своих сочинениях глухие отголоски со стороны магистральных путей героического продвижения *Нашего леса* к сверкающим идеалам добра, допустимой свободы, пристойной обеспеченности и практической полезной самодеятельности. Собственно Тулупис являет собою сборище случайных, слабограмотных графоманов, волнуют которых только рябчики, отпускаемые из кассы издательского учреждения. В самоличной же сущности эти писари зело пьянствуют, завистничают всему и вся, беспрестанно сволачиваются с податливыми мамашками. Отменно Лошак живописал тайные от недоброго глазу, угодные для предания всем порокам лежбища в зарецкой стороне Тулуповска — в деревянных берлогах наподобие воровских укрытий, куда они всей своей коллектой съезжаются на ночь глядя. Словом, предаются телесному и умственному разврату; в последнем статусе «упражняются в безверье и расколе».

За напечатанием онога пасквиля не замедлился и сам великий конфуз. Близилась сакральная дата — столетие со дня рождения Великого Тигра. Зная Лошака как «датского» писаря, никто в тех самых столичных комсомолистских курантах не выказал удивления и сомнения, когда тот напросился командировать его в Аглицкое безлесье. Хочу, мол, сочинить очерковое повествование о причастности Великого Тигра аглицкому съезду тогда еще запрещенной в *Нашем лесу* обобществительной партии, предводителем коей являлся. Для сего ж мне надлежит — для писарской вдохновительности — побывать в тех местах, подышать теми воздухами, что впитывал в свой организм Великий наш Тигр, гуляя по Аглицкому безлесью, так-сяк умом раскидывая диспозицию установления обобществления в нашей лесной чащобе...

Правление курантов прочувственно отнеслось к доброжелательным намерениям Лошака; особенно всех умилило желание его подышать одним воздухом с исторической тенью Великого Тигра. Без ропота и междоусобных выкрутасов выдали Лошаку в кассе прогонные, подъемные, харчевые и представительские в аглицких рябчиках. В самом же Тулуповске без проволоочки и с благодушным попечительством оформили принятые по регламенту отношения от Тулуписа, заверенные письменно в местном корпусе жандармов и у полицмейстера. Главное, благословил на столь полезное и значимое для празднования юбилея Великого Тигра, вставшего у основания обобществленности *Нашего леса*, предприятие сам предводитель. Отметим, что во времена цветения обобществленности главную роль в управлении губерниями исполняли

не воеводы, как бы то казалось по наименованию должности, но предводители, от коих зависело все и вся во вверенных им лесах или урочищах (на окраинах — пустынях и горах).

На прощальном, увы, оказавшемся не фигурой речи, но сбывшемся по значению этого слова, банкетировании, естественно, во все том же кругу и без писарей, Лошак говорил несколько загадочно, что-де время нынче мудреное, а он едет за семь верст не киселя хлебать... Само собой разумеется, Лошак отбыл, оставив в своей конюшне очередную жеребую кобылку. Никто даже впоследствии не изумился такому постоянству.

...Не прошло и суток после посадки Лошака в аэроплан до Аглицкого безлесья, как кисель тот пришлось расхлебывать очень даже многим чиновным тулуповцам. Да и в столице, в Лесписе и редакции курантов, необдуманно командировавшей его, несладкое время наступило. Многих там подвинули.

Словом, сойдя с аэроплана в Аглицком безлесье, Лошак отыскал местное чиновное лицо и заявил: невмоготу ему, великому писарю, эти высокие идеалы обобществления! Просит он великодушно принять его в подданство вольнолюбивого безлесья, где так славно дышится воздухами свободы для сочинительства и благоденственного проживания. Верный своей неистовой умоиступляющей натуре, подметив в Хитрованском депо аэропланов множество снующих нежеребых кобылок, Лошак потребовал от приветившего его чиновного лица перво-наперво доставить для изучения свободности здешних нравов и порядков в дом терпимости.— Для укрепления устоев переведения идеалов из области эмпирических мечтаний в предметы практического воплощения.

...Спознав о злоумышленной подлости Лошака, Альбатрос, Степной Волк и Сказочник отбили друг дружке по междуберложьему телеграфу свои самодостаточные суждения о случившемся: надо, ребята, готовиться к худшему!

♦ Обобщественная власть ласкова и благодушна ко всем, кто не страдает неумной жадной бесформенных чаяний, но беспощадна к тем, кто недальновидно поспособствовал злодеяниям потрясателей основ и подрывателей устоев. Началась показательная порка без уважения к чинам. Даже пресловутого «стрелочника» не искали. Лесной народ поговаривал в трактирах и своих берложьих кухнях, что сам Второй Тигр, главный предводитель *Нашего леса*, хотя имел натуру благодушную, но страшно разгневался, приказал тотчас разобраться и всех же наказать. Как истинный и нелицеприятный сторонник обобществительной демократии, розыск начал с себя (сам себя выпорол), показательно отсрочив на полгода получение очередной геройской звезды с бриллиантами и на ленте. Ну-у, чухломному зверью только дай байки порассказывать!

Дабы не растекаться мыслью по древу, перечислим роспись итогов тулуповского розыска. Бессменный со дня основания Тулуписа его руководитель Лавроносный Журавль лишился должности Льва с отчислением по разряду рядовых писарей. Птице Казарке, возглавлявшей обобществительную ячейку в Тулуписе, объявили вердиктом предводителя строжайший разнос и также, отринув от должности Осла, отчислили все по тому же разряду. Пострадали — и бери куда выше! — намного более существенные чины. Самый серьезный удар среди оных пришелся по тулуповскому шефу жандармов: из «голубых генеральских погонов» переместился на предпенсионное прозябание партикулярным заведующим пробирной палатой.

Еще, окромя указанных, свой разрешительный вердикт на поездку Лошака давал предводитель того округа Тулуповска, к коему приписан Тулупис. И его, ничтоже сумняшеся, с чином похерили.

...Только по той счастливой для тулуповского предводителя случайности, что, воперво, вывел он своим хозяйственным талантом губернию в передовые по *Нашему*

лесу, а ввторо, в молодости служил под началом и в дружеской компанейности с будущим Вторым Тигром, остался он при прежней должности. С обильным же числом всяких мало- и среднечинных из кругов воеводы, предводителя и исправника, что имели первостатейную глупость оставить автографы на закопченном потолке Лошаковой конюшни, правож вели просто: бывал? значит соучастник гнусного замысла. А еще чин на тебя большой наложен! — Отчислить по инфантерии и курьерской (тридцать тысяч курьеров скачут) кавалерии! Здесь пришлось, поснимав от трудовой жаркости кителя с аксельбантами, попотеть розыскным дознавателям: устанавливать по потолочным росписям Лошаковой конюшни имярек каждого посетителя ночных увеселений и оргий с (нежеребыми пока) кобылками... Даже наказанные понимали: вина их и есть вина. *Mea culpa* — моя вина, как сокрушенно говорил по латыни гимназический учитель, чисто случайно и не по чину попавший в Лошаковскую конюшню. И добавлял: *dura lex, soud lex* — жесток закон, но это закон. «Вот сволочь отъявленная, — шипел иной наказанный по причине оставленной подписи на потолке, — это надо же догадаться такой коллективный донос после себя оставить!»



Мифологический и эсхатологический символ быстротекущего времени — ангел с косой, сидящий на шаре. Образность такого представления самоочевидна. Подошел к Символу профессор философии Артемидов, сложил по наполеоновски руки на груди, запахнулся в академическую мантию, сделал умный вид... все же профессор! Не выдержал Символ:

— *Почто уставился, муж высокоученый из города Тамбова?*

— *Да вот я о тебе, то есть о сущности времени, недавно книгу издал. Толстую, под тысячу страниц, почти как Библия... или Коран, или Тора — кому как нравится.*

— *Никому, док, ни сравнение арифметическое, ни сама книга не понравятся. Даже жене твоей, поскольку гонорара тебе не заплатили; сейчас ведь и за науку, и за псевдонауку не платят. Иначе все бросятся в сочинители.*

— *Но почему? Я ведь все по диалектике Гегеля Георга Вильгельмовича выверял. Про Платона и Канта не забывал...*

— *А как можно время описать, даже на тысяче страниц? Оно ведь пришло из бесконечности, промелькнуло и устремилось вновь в бесконечность, но только в будущую. И ухватить его, как тебя за твою новомодную косичку — молодиться что ли? — невозможно. Тем более описать. Так что, док, не пиши более трактатов обо мне, а используй отведенный тебе отрезок времени с большей пользой, например, сделай ремонт в квартире; сколько моего времени жена просит?*

Донельзя убитый лютой расправой, отринутый от должности Лавроносный Журавль совсем сник, расхворался и от тягостных раздумий скоро, увы, присоединился к той стае своих соплеменных птиц, что улетают без возврата... Умело он и пристойно вел по правильному пути Тулупис. И сейчас его имя добром вспоминают в Тулуповском лесу, хотя бы при всеобщей грамотности число читающих устремилось — по «Арифметике» Магницкого — к абсолютному нулю. Но это в нашем повествовании еще не скоро случится.

Был явлен природными силами мистической символ случившегося: в день погребения Лавроносного Журавля в столице Аглицкого безлесья смертельно попал под колеса (неустановленной полицейскими чинами?!) самодвижущейся повозки Лошак. Лесной народ, вроде как он ни причем, по этому поводу безотносительно приговаривал странное: на всякого Троцкого есть свой Меркадер... Но на то он и глупый народ, чтобы напраслину на кого ни попадая возводить. Попал и попал куда следовало!

Совсем недолго Лошак чувственно наслаждался аглицкими воздухами свободы и вседозволенного либерализма, но и из тамошнего безлесья все доставал тулуповских писарей, обличая в оных полное отсутствие грамотности и врожденного тяготения к занятиям сочинительством. Одни, мол, рябчики у них в голове, из которых остатки мозга выветрились, да дармовые поросята, куры, тамбовский окорок и очищенная сивуха на всяких обобществительных банкетах токмо на уме. Настолько, мол, жаднючи тулуповские так называемые писари, что даже отказываются сделать крохотную коллекту на пожертвование малоимущим сочинительницам, давно уже достойными обилечения, а именно Утке-мандаринке и Овсянке Янковского...

Тулуповских писарей, которых если что и обижало, так только не слишком большая — по их мнению — толщина пачек рябчиков, получаемых в гонорарной кассе, особенно заинтересовали названные Лошаком, никому в их среде неизвестные, редкостные и в иных лесах птицы. Ведь он, как всем ведомо, предпочитал жеребить кобылок; неужто в тайне от общественности еще и содомскому зоологическому греху в Тулуповске предавался? Но здравомыслящие, хотя и очень себе на уме, Альбатрос, Степной Волк и Сказочник из мокшанских лугов просветили на таковой предмет недоумения: у Лошака от тамошних вольнолюбий, либерализмов и обилия домов терпимости с нежеребыми кобылками (там наука фармация очень развита) все в мыслях воспоминательных перемешалось, а расчетливые чины Аглицкого безлесья, что взяли Лошака на службу по части пропаганду на *Наш лес* пущать, потрясать основы и подрывать устои обобществления, требуют многословно отрабатывать тамошние рябчики (в натуральном их на фунты весе). Дескать, изворачивайся! Словом говоря, требуют от Лошака зазря пустые речи в наш лесной народ пущать... Вот в воспаленном соображении его и всплывают диковинные представители орнитологических сфер; все ради прибытка, а не просто ради потехи над оплеванными со всех сторон тулуповскими писарями.

А мудрый от простонародного воспитания Сказочник резюмировал по фольклорной части, узнав о гибели Лошака, что от живого человека добра не жди, а от мертвого подавно... И посейчас, почти через полвека от вышеописанного злодейского конфуза в Тулуписе, старожилы оного и новые генерации писарей почему-то... даже жалеют Лошака. Что это? — По всей очевидности наша исторически сложившаяся и закрепившаяся жалость ко всем несчастливцам: от нищей старухи на паперти до каторжного душегуба. Особливо же печалются по убогим умом, к коим всенесомненно отнесен в тулуповской писарской чрезпоколенной памяти Лошак: был, мол, дурак, да вышел весь так!

В лихоимные же «девяностые годы», когда все паскудное, супротив прежнего, обобществленного *Нашего леса* направленное было в чести, то и вовсе во всяких под-

метных курантах, особенно в столице тиснутых, оспаривалась честь различных Лесов полагать Лошака *своим*, как свободолюбца, борца с тоталитарным режимом, воплощением совести и морали и пр. О — времена и нравы! О — история, смейся и плачь...

♦ Положено разделять историю тулуповских писарей пограничной, как зубилом выдолбленной в гранитной плите, черте: до лошаковского конфуза и опосля. ...И до другой черты: окончание эпохи обобществления и начала лихоимных «девяностых». Первая из поименованных черт отказалась для Тулуписа судьбоносной, но печально сослагательной в грамматическом наклонении. В «долошаковье», о чем уже рапортовалось выше, молодой по дате учреждения Тулупис с веселым остервенением нерастраченных еще писарских сил и чаяний на проявление и просияние на Скрижалях уверенно крепил свое реноме и добровольческие устремления по распространению обобществительских мыслей среди лесных обитателей. Уже верховные Лев с Ослом и ближним зоологическим кругом правленцев Лесписа с ласковой снисходительностью и благодушным расположением привечали юную тулуповскую поросль писчебумажных тружеников гусиного пера. Скупое, но все же отмечали наиболее проявляющих себя скромными знаками отличия. Конечно, до звезд и крестов на атласных лентах еще было как от земли до луны... даже до солнца, но ведь примечали!

Все рухнуло в гадаринскую библейскую пропасть со срамным злодейством Лошака, хотя бы еще Великий Тигр написал, как припечатал, в своем собрании сочинений о роли личности в Истории: дескать, она преходяща и почти что случайна, в нужном месте в нужное время проявляющая себя в отведенной ей ипостаси. По философской справедливости и регламентам логики сие вам любой старшеклассный гимназический учитель, как дважды две четыре, разъяснит. Но на то они и лесные обитатели, тем паче играющие в горелки девушки-чечеточки, чтобы отделять уроки от практической жизни. Получается вроде как в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Особенно если личность эта предстает в сиянии значительного злодейства; неважно, героического или паскудного.

Вот и огорченным тулуповским писарям обличающие их неосмотрительность по части Лошака чины от воеводы, предводителя и исправника прямо заявляли: а не от нерадивости ли и благодушия вашего такая беда на Тулупис опрокинулась? И добавляли еще много разных правильных и воспитующих слов с цитированием собраний сочинений Великого Тигра и Карлы Маркса.

Беда же великая и огорчительна на «послелошаковский» Тулупис свалилась словно гром господень. Если бы дело ограничилось разжалованием с должностей Льва и Осла, соответственно, Лавроносного Журавля и птицы Казарки, то все страсти скоро и утихли. Незаменимых у нас нет, говорил во время оно Стальной Барс. Тем более в Тулуписе, где задор неопитов от писарской власти еще не сменился либеральным скепсисом и возрастным догматизмом. Беда оказалась тяжелее, беспросветнее и обло круче мрачных ноябрьских снеговых туч, нависших по всему окоему над головами оплеванных тулуповских писарей. Нет вины без виноватых — приговорили в Лесписе и похерили все прежние, хотя бы только начавшие проявляться заслуги «молодой и успешно растущей губернской писарской организации».

Словом, негласным рескриптом Тулупис навечно (то есть до случившегося через двадцать без малого лет) был определен в качестве неблагонадежного предмета просветительства. Все светлые и радужные перспективы перед ним закрылись. Хорошо хоть не упразднили вовсе и образцово-персонально не разжаловали из писарей в рядовые сочинители некоторых! Здесь, как поговаривали лесные обитатели, дальнейшие розыск и расправу на правах обобществленного хозяина Тулуповского леса пресек добродушнейший предводитель. Ведь дальнейшее пресечение в писчебумажной статье *его хозяйства* привлекло бы излишнее внимание его столичных недоброжела-

телей, коих всегда предостаточно у любого, на которого немалый чин наложен. Потом он достаточно знал из неведомого рядовой лесной челяди, а именно, что сам его высокий благодетель, лавролюбивый (хотя и благодушный) Второй Тигр мысленно примеряет на своем сюртуке знак лауреата высшей в *Нашем лесу* писарской премии имени своего тезки Великого Тигра. Что означало аккордом и причисление его к Леспису. А ведь нельзя по административному обыкновению *явно* одной рукой строить, другой ломать?! Дело тонкое и политичное, но наш предводитель недаром происходил из малороссийских степей: полезную хитрость завсегда соединял с недюжинным своим разумением. Словом — настоящий хозяин своих лесов и дел!

Ничтожество, в каковое ввергли Тулупис, явственно проявилось тотчас после увольнения с должности Льва Лавроносного Журавля. Казалось бы, с позиций административного восторга, на такую вакансию все писари, отталкивая друг друга локтями, центростремительно ринутся? Но... козыряй! как игроки в бостон изъясняются; желающих занять опальное, еще не остывшее кресло днем со свечой пришлось разыскивать. И все неопределенно отбояриваются: у одного берлога с краю, другой вовсе не о двух головах, третий же не забыл злопамятно, как его блестящий роман «Колхозник Ермила», впоследствии получивший поощрительную премию на конкурсе ЖЭУ-14 Тулуповска, в планах местного издательства нагло перенесли на воследующий год... чтобы побыстрее тиснуть очередную повесть Лошака. Положительно, тень злодея продолжала черным крылом накрывать все светлые начинания огорченных тулуповских писарей.

Чудны дела твои, господи! В Лесу с веками наработанным строгим регламентом и почтением к табельным чинам («Государство наше есть по преимуществу военное», — таковым утверждением открывались гимназические учебники географии при Царе Горохе), в Тулуписе не находилось желающих в добровольческом устремлении занять вакансию Льва! Долго перекотыривались меж собой публично и междуособно писари, пока не вмешалась Птица-Секретарь, охолодившая разгоряченные головы: «А кто будет за Льва ставить роспись на всяких денежных документах, опять же на отношениях в издательское учреждение на печатание ваших же писчебумажных сочинений? Я же печать на пустое место прикладывать не стану! Хватит кобениться — избирайте Льва! Или хотите без рябчиков остаться?»

...Нехотя, с оговорками и взаимными обидами, поочередно, не дотягивая до окончания уставного срока, на должности Льва побывали Альбатрос, Олениха, Пушистый Котик и почти все остальные тулуповские писари. Словно каторгу отбывали <<«С обязательным УДО», — расхохотался профессор Скородумов, читая принесенное аспирантом Володькой (вместе с бутылкой 0,7 л «клюквенной») «осалтыковленную» историческую повесть писателя Бурцева>>.

♦ Стерпится — слюбится. В каком бы чащобном забвении не находился два десятка лет — до отмены обобществления — Тулупис, но жизнь в нем не то чтобы теплилась, но по-своему струилась, порой и по-весеннему разливалась, расширялась в своих берегах. Да и в самом Лесписе со временем чиновные места освобождались по естественной убыли или скандалам, приходили новые местоблюстители, порой начинавшие недоумевать: а по какой-то такой разрядке Тулупис по реестру неблагонадежности зачислен? Старожилы из проявивших и просиявших, уже с покусением на Скрижали, охотно поясняли молодежи. Те как-то задумчиво, соглашались, кивали, а которые выпущенные из университетов по филологическому разряду, так и вовсе в дозволенном вольнолюбии латинизировали (чтобы просиявшие, от сохи которые, не поняли): *tempora tenturum*, то бишь времена меняются...

«Жив курилка!» — как бы сказал о Тулуписе Ромен Роллан, доживи он до соответствующих лет. И если в Лесписе и в столичных толстых курантах начинали смотреть на конфуз с Лошаком с таким гвардейским либерализмом и сквозь (всегда ис-

кривляющую) призму Истории, то и сами тулуповские писари постепенно начали выходить из пелен робости и «как бы чего не вышло». Уже не довольствовались *своими* издательским учреждением, не то что подвалами, а и целиковыми полосами «писарской страницы» обеих местных газет: «За родную трущобу» и «За молодую трущобу». То один, то другой устремлялись в столицу, в тамошние издательские учреждения, а более всего в толстые и «комсомолистские» куранты. Наиболее успешным в таком общественноугодном деле оказался Степной Волк — персонаж сквалыжный и задиристый, но наиболее талантом одарен был: как в прозаических сочинениях, так и в рифмовании своих мыслей; как правило, мрачных. — Но без очевидных подлостей и покушений на устои... основ тож. Тиснув два резонно сочиненных романа — оба в первостатейного табельного списка столичных курантах, Степной Волк в таковой кондиции даже Лошака в пору его писарского цветения превзошел! На тулуповских ассамблеях озорно дурачился, задирали докладчиков, нарочито злил их и радовался достигнутому успеху. Когда же писари собирались за столом по случаю тезоименитства сочлена Тулуписа — с круглой цифирью даты, — либо на законных правах и в целях поддержания нравственности общественных идеалов отмечали осязательным содержанием официальный административный праздник, то душой такового сборища всенепременно становился Степной Волк. Нарочито, то есть поддразнивая осторожных в мыслях и словоизъяснениях тулуповцев, уклонялся от принятой линии: рассказывал анекдоты про руководителей лесной партии и правительства, после чего хорошо поставленным баритоном (Осел по отмашке Льва прикрывал оконные фрамуги) громогласно пел давно ставшие в *Нашем лесу* фигурой умолчания героические песни про обобществительные подвиги и блестящие воинские и партикулярные свершения Стального Барса.

Когда хозяйка общественного стола Птица-Секретарь вносила на жостовском расписном подносе поросенка, фаршированного гречневой кашей, с аппетитно запекшейся бронзовой кожицей, щедро умащенной хренком со свеколкой, Степной Волк, подмигнув робкому поэту, только-только обилеченному (с третьей попытки), которого он совсем недавно в пух и прах разнес на ассамблее за мелкотемье и уклады в натуралистические осязательные несовершенства, поддразнивал того: «Прощай, молочный поросенок, отныне нам не хрюкать на луну, хрю-хрю-хрю!» Сивуху, даже неочищенную, Степной Волк потреблял неограниченно, но в пьяный раж несколько не впадал, сохраняя веселое благодушие, либеральную раскрепощенность и ясность мыслительной сущности. Про такие матерые натуры в прошлом веке Даль и Афанасьев собрали в народе знаковые присказки: «Пей да дело разумей» и «Пьян да умен — два угодия в ем».

Остро на поэтическую и прозаическую нелицеприятность Степного Волка вся писарская общественность прилюдно и сам-двое опасалась. Окромя увлечения писчебумажным промыслом и сивухи уважал рябчики («Был отменный эконом...»). Не довольствуясь приличествующими гонорариями, нахрапом влезал во все выездные предприятия Тулуписа — это когда малой коллектой писари за отдельную плату от культуртрегерских учреждений по линии воеводы или предводителя отправлялись в различные урочища и чащобы Тулуповского леса, даже в соседние Леса, где увлекали тамошних обитателей, фабрично-заводских и обобществленно-крестьянских, исполнением соло собственноручного приуготовления стихов и назидательных параграфов из повествований — все той же фабрикации, тем самым создавая прочные устои для вольного труда лесных обитателей, каковая всегда лежит — по Карле Марксу и Великому Тигру — в сущности обобществления.

...Уже после ликвидации оногo Степной Волк со смехом рассказывал новой генерации тулуповских писарей, как, будучи, взамен отчисленной по Лошакову делу птицы Казарки, руководителем писарской ячейки партии обобществления, он утай-

вал в ведомостях окладных листов на партийные налоги свои рябчиковые доходы от поездок-выступлений по урочищам и чащобам... Здесь даже междусобойный конфуз между Степным Волком и недавно обилеченным на исходе эпохи обобществления писарем Полярной Росомахой, обучавшимся ранее в Высшем писарском училище. Случайно встретившись, зашли они поприятельствовать в трактир с подачей пива, побеседовать о самозначительности писарского сословия в наступившие «лихоимные девяностые» годы в части ненужности еже какой-либо деятельности по распространению (отмененных рескриптом) здравых мыслей в обществе. Здесь-то Степной Волк и рассказал, смеючись, о своем утаивании от бывшей *нашей* партии налогов за просветительские поездки по чащобам и урочищам. Моложе годами и писарскими заслугами, Полярной Росомахе промолчать бы, не зная еще характера визави — вселенский шутник, Степной Волк приходил в самополнейшую ярость, слыша иную инвективу в адрес своей персоны, — но ляпнул-таки, изобразив серьезность лица: «Да за такое кощунство над светлыми тогдашними идеалами вашему степенству при Стальном Барсе десять лет без права переписки должно было дать!» — Сказал и вмиг испугался: Степной Волк побагровел, проклял весь росомаший род до седьмого колена, гневной дланью опрокинул на пол кружку с недопитым пивом, сплюнул и выбежал вон. Понятно, забыв уплатить по рябчиковому счету за себя. Пришлось огорченному Полярной Росомахе за двоих банковать с присовокуплением стоимости разбитой кружки, и еще по рябчиковой мелочи — за беспокойство — согбенной старушке-грачихе, трактирной подметальщице.

...Со Степным Волком мы еще встретимся в той части повествования, где живописуются тулуповские писари в ту историческую эпоху, когда обобществление заменили противоположным действием, а лесных обитателей вновь, как при Царе Горохе, изустно и печатно велено стало именовать обывателями и прочей лесной сволочью.

♦ Природа в своей натуральной ипостаси регламентом поделена временами года, на смене которых людей и зверей радуют недолгие, но в памяти запечатлевающиеся, периоды умиротворения. Это суть ласковое окончание волнующей душу весны — месяц май в завершающих его двух декадах. Изобильный по дарам возделанной трудами лесных обитателей нивы сентябрь: природа уже грустит в преддверии непогод, но как веселы гимназисты, вроде заново после летних вакаций привыкающие к своим менторам, учащим их идеалам добра и обобщественности. Так и тулуповские писари, когда хотя бы немного забылось их недогляденное в части Лошакова злодейства, уподобились природному умиротворению, недалекому от потери бдительности, причем именно в сентябрьской аналогии. Что-то судьба готовит им? И вообще *urbi et orbi* — городу и миру, как в папских энцикликах. А раз проглянула заставляющая пожить душу неопределенность будущности, так следует радоваться дню текущему... хотя бы уже и сентябрьскому. Словом, оправившийся от моральной (и материальной по части рябчиков!) пощечины Тулупис выживал и надеялся.

Не то что не отставала в писарском усердии от Степного Волка многотрудолобивая Олениха, единственная столичная (поощрительная) писарская лауреатка, но даже чаще его спешила в означенный табельный день к гонорарной кассе за вновь изданную книгу. В бухгалтерии издательского заведения ее чуток остерегались. Олениха прибыла в Тулуповский лес из дальней Сибирской тайги, где всяк силою природного воспитания и первозданной дикостью мест обитания не то что подозрителен, но zelo осторожен в общении со всем окружающим. Тем более в тонких для профессионального писаря гонорарных делах. Ведь ему продовольствоваться на них до тисканья следующей книги! А очередь возжелающих водвориться в окладные списки — планы издательства, обслуживающего четверок губерний, все растет и растет в пропорциональном отношении по числу вновь нарождающихся обилеченных писарей в Тулуповском и соседних лесах.



Опытный журналист наставляет стажера: «Ну, что ты, мой милый, написал: «Вчерашний Первомай в областном центре собрал не более двух тысяч митингующих, преимущественно пожилого возраста. В целом, все прошло спокойно за исключением небольшого инцидента: учащийся техникума бросил в сторону губернатора надорванный пакет с кефиром. Хулиган был задержан». Надо усилить акценты, примерно вот так: «Традиционный праздник весны и труда граждане города провели на своих виллах и дачах. Несколько сотен страдающих амнезией беспомощных стариков случайно зашли на площадь и остановились, заинтересовавшись появлением губернатора, известного прокоммунистическими взглядами, со свитой. Молодой демократ, студент колледжа Борис К., выразил возмущение политикой губернатора по задержке реформ и метким броском надорванного пакета с йогуртом «Эрмигут» сбил с него спесь. Милиция зверски скрутила руки молодого борца, отличника учебы и именного стипендиата фонда Гусиновича и бросила его в «черный воронк». Народ на площади роптал и возмущался».

...Потому-то рачительная Олениха, ведавшая заведенный обычай бухгалтерии издательского заведения в подсчете полагающегося писарю гонорария арифметическим действием умножения числа оттиснутых литер на узаконенную ставку рябчиков с последующим округлением в меньшую сторону, самолично подсчитывала упомянутое число литер и умножала без всяких намерений к округлению. Арифметику же она знала отменно, будучи выпущена из высшего училища по корпусу горных инженеров, но отошла скоро от упражнения в оном, прочувствовав в своей натуре природой данное устремление в обители муз близ освежающих струй Кастальского ключа.

Писарем Олениха была отменным — для благоденственного обобществительного времени и губернского статуса. И в наступившую вослед вовсе неудобную для писчебумажных тружеников эпоху служила раз и навсегда избранному занятию совестливо. Даже самые завистники, понятно, по рябчиковой части, не смели упрекнуть ее в следовании паскудному правилу: дескать, спусть рукава, хоть что-нибудь, далее — по возможности, а затем и вовсе применительно к подлости... Но и с пресловутыми «правдурбами» никто бы Олениху не взялся соотносить, ибо, живя и продо-

вольствуясь токмо сочинительством, писарю завсегда следует держаться аккуратной пристойности, то бишь гусиным пером описывать предмет с позиции правильной в воспитании и нравственности правды, но нисколько не влезать в сомнительные — не только в обобществленном, но и в ином лесоустройстве — дебри той правды («Нет правды на земле, но правды нет и выше!»), что навевает у читателя смутные и неясные мечтания о потрясении основ, обличении злоупотребителей в чинах первых классов и подрывании устоев.

Словом говоря, не напряженным всякими философскими смыслами предстояла перед читающей (а тогда в *Нашем лесу* все читали!) публикой, главное пред невинными девушками-чечеточками и (еще или пока?) не огорченными малым числом рябчиков в кармапах юными гимназистами и учащимися реальных училищ, Олениха, а добродетельным учителем благонравной жизни; неспешно поучала добротным стилем и слогом, воспринятыми от писарей-классиков предшествующих времен и поколений. Она же полагала свое сочинительство жизненным обязательством, трудной, но полезной работой во имя идеалов обобществления, к тому же приносящей душевный покой и удовлетворение. Каждый год местное, а то и столичные издательские заведения тискали литерами очередную ее поучительную книгу. Порядок этот Олениха исполняла почти что с календарной регулярностью. Даже лично-семейную жизнь свою не обустроила, полагая это препятствующим писарскому усердному труду.

Сюжеты своих сочинений она не из пальца высасывала, чем грешили некоторые тулуповские писари, тем паче многие еще необилеченные, но брала из жизненных реалий. Поэтому и привыкли лицедреть Олениху в различного пошиба училищах, на лесных стройках-гигантах обобществительства, фабриках и заводах, где традиционно, из поколения в поколение, гнули котёлки. Она искала героев своих повествований не среди чиновников из окружения воеводы, предводителя и исправника, но от сохи, отбойного молотка, учащихся и наставников училищ. Оговоримся: если директивная обобществительная линия требовала от писарей оттенить или просветлить роль лесных руководителей, в том числе и в чинах до партикулярных генералов — действительных статских советников, то Олениха и здесь с присущим ей писарским мастерством выставляла ум, честь и совесть обобществительной эпохи. В губернском масштабе, понятно дело. Отсюда и книги, вовсе не лизоблюдские, но правильные, про прогремевший на весь *Наш лес* трудовой эксперимент в ближнем к Тулуповску урочищу, а особенно читаемый и сейчас на одном дыхании роман об избранном единокласно районном предводителе...

Не только молодая поросль лесных обитателей и умудренная жизнью женская половина зачитывались в то время книгами Оленихи. Даже необилеченные сочинители, одолеваемые всеполагающей завистью, зело сдобренной позднеюношеским скепсисом и либерализмом (мол, «мы — умы, а вы — увы!»), раскрывали ее книги — что возьмешь у сугубо женской писарши? — вроде как из общепринятой вежливости, прочитывали пару-тройку страниц... а затем увлекались и, стыдясь перед такими же (с либерализмом) необилеченными сотоварищи, уже наедине, в своей берлоге от корки до корки прочитывали. И здравая мысль их посещала после прочтения последних литер: да-а, брат Гусь Лапчатый, пожалуй и рановато тебе о билете Лесписа задумываться; надо у той же Оленихи учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал Великий Тигр, как учит нас обобществительная партия и лично <имярек>!

...Земля наша двухполярная: полюс на северной макушке, а другой в ледяной Антарктиде. Так к описываемому периоду истории писарей Тулуповского леса и в оном на сочинительском небосклоне всяк узревал двоепротивоположение: ушедший в злодейское небытие Лошак и спокойно, ровно светящаяся доброжелательностью сочинительская муза Оленихи. И долгое время ей еще предстояло освещать благонравно горизонты читающих лесных обитателей.

♦ Альбатроса и Сказочника из мокшанских лугов, невзирая на существенное различие их зоологического происхождения, сближала по роду занятий начальная молодость и вступление в зрелые писарские годы. Оба они, вельми несхожие по внешности натур и причислению к разрядам сочинительства, по рекрутскому набору исправляли воинскую повинность по флотских экипажах. Оба и курсы в Высшем писарском училище прослушали, откуда были выпущены по разряду писчебумажных работников гусяного пера. Но вот дальше выступает токмо различие. Альбатрос — коренной посконно-домотканый тулуповец, до писарского призвания в заводе изукрашавший зернью и узором особливые парадные котёлки. Сказочник же пришелец с далеких мокшанских лугов, а в Тулуповск его приманили на полное довольствие и для увеличения численности только что организованного Тулуписа сразу по окончании Высшего писарского училища, до которого он в цирке гимнастическими упражнениями публику волновал.

Сказочник постарше, этакий увалень, сочинял для гимназистов и учеников-реалистов, соответственно своему прозвищу, заменявшему в заглазном общении писарей его звериный разряд (был он добродушным медведем), сказочные повествования, многожды тискаемые и перетискаемые в Тулуповске и в столице. Отдал он дань и историческому промыслу гнутья котёлок в Тулуповском лесу, сочинял отменные сказки о легендарном мастере этого дела по прозвищу Затычка. Над ним посмеивались, мол, Затычка! Ха-ха-ха! Понятно дело, коллеги-писари завистливо загибали в сюртучных карманах пальцы, пересчитывая гонорарные рябчики Сказочника от местных и столичных неоднократных тисканий «Затычки». А вот в канцелярии предводителя, в кою пару раз пришлось Сказочнику явиться по своим писарским докукам, каковые Тулупису разбирать не по рангу оказалось, чиновники XIV—X классов, лишь недавно прибывшие выдвинутыми из малограмотных чащоб Тулуповского леса, также посмеивались, но уже от непонимания самой роли писарей в укреплении оснований, лежащих в исполнении практических воплощений идеалов обобщественности... От природы мудрый Сказочник, получив от нижних чинов от ворот поворот, нимало на них не обижался. Зайдя в попутную простонародную распивочную при трактире купца Филимонова, выпивал потребное его медведевому организму, а по адресу нижнеклассных чиновников добродушествовал со случайным собутыльником: известно, мол, дело молодое, необтесанное. Вот наложат со временем на такого чин повыше, навроне надворного советника, так мигом поумнеет. У меня же на подарочное тисканье «Затычки» автограф просить будет вежливым порядком, дескать, соизвольте для малых моих детушек на добрую память... Словом, мы от сохи, но когда-нибудь достигнем «окружающего момента обстановки», как устами своего героя сказал *наш* флотский писарь. Известно ведь со старины нашей Гостомысловой, что уши выше лба никак не вырастут, если только не на должности Осла находишься — чтобы издали все шепотки неудовольствия в адрес Льва слышать и патрону доклады в установленном регламентом порядке, — и чем выше чин наложен, тем более все содержимое головы улетучивается, а значит умнеет чиновник и думать начинает нужным местом, каковое по чину блюсти должен и сохранять для своего благоустройства.

Прост в общении Сказочник был, так прост, что до сих пор в писарской тулуповской среде о его простоте анекдоты ходят. Памятная доска сейчас на берложьем доме его висит.

...Альбатрос же, помлаже Сказочника, супротив его внешности имел фигуру приземистую, озорную. Сочиняет и посейчас по части рифмованного писарства, отменно играет на гармонии, а еще лучше поет поставленным от природы голосом: по нотной грамоте где-то между тенором и верхним баритоном. Но и по фальцету пройтись может частушечьему. Стихи сочиняет не «датские», но и повода к оному не избегает. В Тулуповском лесу, по признанию и утверждению самих предводителя и воеводы,

за ним пальма первенства в патриотическом воспевании традиционного котёлочного промысла и собственно славной тулуповской отчины и дедчины. Честь и хвала ему от восторженных лесных обитателей имела место быть в описываемое наивысшее осязательное цветения эпохи обобществления.

...Когда Полярная Росомаха вступал в сочлены Лесписа <<<«Что за *qui pro quo**?» — Игорь Васильевич запнулся на увлекшем его чтении,— зачем здесь, нарушая стройную временную последовательность повествования, возникла явно позднейшая фигура Росомахи?» И тут же рассмеялся, хлопнув себя ладонью по лбу: «Совсем было забыл, что автор «подстрочника» Андрей Матвеевич Бурцев родом с Севера; какой же писатель не захочет и себя в Историю, даже провинциально отведенную, вставить?»>>, то из положенных по статусу трех рекомендателей самым «весомым», конечно же, являлся Сказочник.

Другим же согласился перед комиссией Лесписа за Росомаху предстательствовать вальяжный Пушистый Котик, вышедший в писари из курантовых редакторов. Но и это, в основном прокормляющее его, занятие, войдя в Тулупис, не оставил. Определительное прилагательное (см. «Пространную русскую грамматику» Николая Греча, 1830, с посвящением на титуле: *Его Императорскому Величеству Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ Самодержцу Всероссийскому с благоговением посвящает верноподданный Николай Греч*) «пушистый» и ласково-уменьшительную существительную основу (опять же см. Греча верноподданническую грамматику) таковой писарь за глаза удостоился за прекраснодушный нрав, вообще свойственный оному зоологическому отряду, но главное — за пылкий и всеобъемлющий интерес к противоположному полу, хотя бы имел замечательной красоты и осязательной к нему благорасположенности супругу. К тому же — редкий случай — в гармоничном сочетании великолепной натурной внешности и приличествующей оному полу толики умственности. На благожелательные доносительства завистников Котика похотывала: «Отчего *мой* сволочится с мамашками страхолюдными? — А по той амурной контрастности, чтобы постоянно в себе подпитывать приязнь ко мне, ха-ха-ха!» И для своих сочинений Котик пользу (число строк — количество рябчиков для дома, для семьи!) извлекал из таковой любвеобильности, пристойным слогом допуская отступления в дозволенных обобществленной нравственностью рамках, что увеличивало интерес лесных читателей и, соответственно, тираж оттиснутых книг. Тем самым, в соотнесении с диалектикой Карлы Маркса, замкнутый круг «писарь — книготорговец — читатель» все более расширялся на восходящих ветвях той спирали, которой в обобществительные времена в гимназиях и училищах, университетах тож, наставники в мундирных сюртуках с петлицами по принадлежности к министерству просвещения допекали своих воспитанников.

Росомаха самолично слышал беседу двух почтенных летами писарей — не то что пакостливо подслушивал, но сидел на соседнем диванчике в канцелярии Тулуписа по своей докуке,— обсуждавших новую книгу Котика: «...Чушь пишет наш Пушистый, дескать, три раза совокупился его персонаж с мамашкой в берлоге холостого приятеля, имея в наличии только два кондома галльской фабрикации. В третий раз, мол, она, искусница, сумела и без одного предмета обойтись. Не понимаю и все!» — «Ничего ты, старый хрен, хотя и помышляешь тайно о Скрижалях, в новых делах не смыслишь...» Но здесь Росомаху потребовали ко Льву, а *новые дела* писари уже без его присутствия обсуждали.

Котику же Росомаха из всех рекомендателей наиболее признателен. В те времена в Лесписе обилечивали тулуповских сочинителей, хотя бы о семи пядях и подающих весомые надежды, со многими препятствиями: новый писарь как лишний рот в

* Одно вместо другого — в смысле путаница, недоразумение (лат.) — (прим. ред.).

большом семействе, ведь планы-то тулуповского издательского заведения не увеличивают с возрастанием числа сочленов Тулуписа! Потому с первого захода вовсе никого не обилечивали. Хорошо хоть со второго сопричаститься? Так отменный поэтический сочинитель Буревестник и счет потерял предпринятым попыткам войти в сонм избранников тулуповских муз... Опять же характер независимый и голос твердый и уверенный настораживали тулуписовцев.

...Так и Росомаху, уже две полновесные книги оттиснувшего, выпущенного с приятными референциями из Высшего писарского училища, в первый раз старожилы забаллотировали: молод еще, а в романе своем странную кривизну по части обобществления этакой игривой загогулиной начертал. Обиды Росомаха не затаил, понимая, что сутолока около кассы издательского заведения никогда в порядок не придет, а Тулупис осаждать следует сочетанием терпения и умения сочинительского. В другой раз рапорт Льву подал с объяснительным убеждением в своей пригодности. Но и тут ему общим настроением хотели препон поставить (в издательстве как раз планку в очередной раз снизили). Выручил Котик: такую убедительную в пользу Росомахи тирадную аттестацию высказал, что привел возражения к единому знаменателю в части ожидаемой пользы от зачисления «молодого, творчески необиженного, устремленного к идеалам» и так далее, что с крохотным перевесом, но все же Росомаху причислили к лику... Как то водится исстари в писарской среде (еще в чиновной и сугубо женской) первыми, искренне и с изъяснением восторга, новообретенного сочлена, даже смахивая с ресниц редкие слезинки умиления, тепло и дружески поздравляли (тайно) голосовавшие супротив. Росомаха сдержанно благодарил, обещая верно и бесподлостно служить писчебумажному искусству, но сделал вид непонимания в части намеков, что-де его одушевление имеет несколько отвлеченный от практического проявления дружелюбности характер. Поскольку в *Нашем лесу* в это время (мы несколько забежали вперед в последовательности повествования...) проводилась кампания по отрезвлению общества — в преддверии наступления процесса поголовного высвобождения от излишних чувствований, мыслей и совести,— то Росомаха, изобразив на морде несусветную верноподданность, громко заявил: «Начинать, *коллеги*, как когда-то учил наш Великий Лев, следует с себя; только так возможно пресечь зло в самом его корне!» И ушел восвояси, не проставившись копченой поросятиной, жареными курами и очищенной сивухой.

...Уже давно на берложем доме в самом пристойном месте (в *наипристойнейшем* квартировал только Лавроносный Журавль — обочь дворца предводителя) Тулуповска значится на стене мраморная табличка в память Котика. Мир праху его!

♦ Как должно быть тебе, благодарный читатель, памятно из классов — гимназических, реального или церковно-приходского училищ, писари завидуют и интригуют в сугубую одиночку, реже с сочувствующей супругой на кухне под шкалик «очищенной», но отдыхают душой и телом в своем сообществе, исключая выборные ассамблеи, где прежде до размахивания, впрочем нарочитого, венскими стульями и вольтеровскими креслами радикально доходило. Это как, в пример будет замечено, в нынешние официально либеральные времена: вроде, по здравому разумению, и выбирать не из кого по депутатской части, но лесного жителя вроде как серьезно словесно задирают, из теплых берлог выманывают, мол, горячись, выбирай достойного! Но — к продлению сего повествования, не разводя излишней риторики.

А по сути благодушествование в писарском тулуповском сообществе в полной мере возродилось опосля прекращения чехарды с частыми сменами местоблюстителей должности Льва, о чем выше было писано.

Самим тулуповским писарям «первого обилечивания» осточертело без конца перепихивать друг на дружку должность Льва в Тулуписе (изба с краю, одна голова на плечах, обидели с берлогой...). Еще не выветрился в памяти, цепкой в сочинитель-

ском сословии, конфуз со злодейством Лошака и воследовавшим внесением Тулуписа в проскрипции в различных канцеляриях: от правления Лесписа до присутственных мест тулуповских предводителя и шефа жандармов. Как под таким недремлющим Оком исполнять со всей решимостью должность Льва? В оной же полагается два противоположные и основные воспитательные правила: блеск показательных кровопролитий и отеческое (мы отцы ваши, вы дети слаборазумные наши) наставление с неперменным обещанием порадеть где надо и предстательствовать перед кем нужно... к примеру, о включении в издательские планы «ну-у, не на следующий, так на воследующий годик». А тут, как всегда кстати, недремлющее Око осадит Льва, дескать, ваш Тулупис и так под сомнением, не по чину тебе кровопролитье претенциозное — до полного исправления! Кровь же побереги; оной надлежит смывать позор Лошаковский, а не лицемерную верноподданность нарочито выставлять. Еще более сомнительным в твоём положении пресловутая отеческая наставительность. Одного уже так наставили, что врагом *Нашего леса* сделался и в Аглицкое безлесье дезертировал от наших светлых идеалов обобществления и трудничества во благо развития оного! Нишкни, мол, тихо, не высовываясь сиди в своей чащобе и смывай с вверенного тебе Тулуписа вечное пятно позора...

Всепонятно, что даже ни на что не претендующие, не поминая Скрижали, ежи и зайцы не помышляли (да и кто бы их пустил!) о должности Льва.

Все же решено было положить окончание перепихиванию и перекотыриванию злосчастного чиновного кресла друг на друга. В избранной (вино, женщины и искусства принадлежат Избранным) междусобойной ассамблее — без поросенка под хреном и злодейки с зеленой наклейкой — порешили и в мыслительном протоколе запечатлели: *аз*) на должность Льва определить всенепременно пиита, ибо у них книги намного тоньше супротив прозаических сочинителей, а значит больше времени останется для исполнения должности; *буки*) нового Льва изыскать из отдаленных урочищ, дабы еще не скоро оброс кумовьями в Тулуписе и начал радеть оным; *веди*) по характеру должен быть миролюбивым, а по годам — на долгий срок исполнения должности.

...Изыскали такого Медведя Миролюбца из удаленной чащобы, из мест, в которых два ста лет тому назад достославный Болотный Бобер строил дворцовую берлогу для незаконноурожденного сына Царицы.

И наступила золотая, даже в какой-то мере и по рябчикам (в приличествующей законоуложениям и морали обобществления), пора Тулуписа. Известно, что одному писарю похвалить другого все одно, что статскому советнику прилюдно коллежского асессора равным себе если не по чину, то по резонности мыслей! Поэтому новый Лев с чащобной крестьянской себе-на-уме хитроумностью избегал с самого начала исполнения должности, каковая продлилась почти три десятка лет, почти что до нынешнего времени, выделять одного писаря перед другим. Даже для своих сородичей из зоологического отряда исключения не допускал и вообще, став по чину Львом, отрекся от косолапого происхождения, ибо место красит, как то принято в администрировании. В междусобойных ассамблеях прояснял свою директиву: «...Гениальный, высоко- и просто талантливый — это попахивает претензиями на Скрижали, до которых всем *нам* еще расти и расти. Так что, писчебумажные мои собратья по гусиному перу, полезной скромности ради ограничимся пока титлами «способный» и «писучий», сделав приятное исключение для наших старейших: Оленихи, Казарки, покойного Лавроносного Журавля, Альбатроса, Степного Волка и Пушистого Котика. Присвоим им наименование «известных тулуповских писарей». В особую графу определим уважаемого Сказочника, нареча «самобытным», благо он в столицах и университетских центрах достаточно ведом. Всех же необилеченных под едину гребенку: «подающие надежды».



*Всем известно ленинское определение русского интеллигента, хотя, между нами, девочками, говоря, и сам Владимир Ильич начинал трудовую жизнь малоудачным либералом-адвокатом. Впрочем, скоро опомнился. В наше же волчье время интеллигент и вовсе гнойный нарост на умирающем теле национальной культуры и науки. Понятно, если он не другого пошиба, демократического... Самое существенное, что никакое время, никакие катаклизмы жизни народа и государства не изменили душевные и умственные устремления пресловутого *i n t e l l e g e n c e*: вкусно покушать три раза в день и с полдником, следовать линии партии (коммунистической, либеральной, националистической... — какая шишка во власти держит), немного диссидентствовать, с девками молодыми шалить. А что касается нравственного выбора, то его всегда вырывает гадание на пальцах или на кофейной гуще.*

Новый Лев по-умному и на канцелярию опекающего Тулупис предводителя обиды не затаил, когда тамошний квартирмейстер выделил ему берлогу не в «сталинском» доме. Здесь все было по регламенту устроено: как только число писарей достигло десятка, вновь обилечиваемых передвинули в нижележащую графу и стали оделять берлогами если не на окраинах, то в новостройных местах. Причем размеры берлог свели к принятым обобществительным нормам: столько-то в квадратных сажнях на члена семейства. Лев и остальные (новые) сочлены Тулуписа хорошо помнили из классов азы Марксовой науки о накоплении и распределении богатств соразмерно (растущему) числу созидающих оные: где-то прибыло, а что-то и убыло...

Поныне ветераны тех золотых годов в беседах с молодой писарской порослью кратко определяют обобществительную эпоху всего-то за пять-десять лет до ее заката: как кум королю жили! Общественное уважение, приязненный почет от чиновников круга предводителя и воеводы, рябчики опять же... Ближе к скончанию эпохи и вовсе, подзабыв о злодейском Лошаке, стали избранно тискать тулуповских писарей в столице, а попечением предводителя и воеводы в родном лесу начали припечатывать таковых избранных, оделяя наименованиями почетных ситуайенов и заслуженных.

женных писарей, что всенесомненно отягощало их кошельки рябчиками... Лев сам хорошо рифмовал и того же спрашивал со своей паствы. Тогда-то предводитель на высокой обобществительной ассамблее в столице и произнес свои слова, что-де до Великого бунта в Тулуповском лесу имелся один писарь — Великий Лев, а ныне нутка сосчитай!

Писарская душа потемки, но напрочь лишена ненужной жажды беспредметных чаяний. Зато за внешней благодушностью задолго до свершения потрясения основ и подрывания устоев чувствует надвигающееся неустройство в жизни. На то они, по давнему высказыванию Горькоусого Моржа, и есть инженеры душ лесных обитателей. Писари вне своего круга на этот счет помалкивали, понимая, что рядовой обитатель чащоб и урочищ их нисколько не поймет, тем паче не выскажет изустно ни малейшего сочувствования к их тревоблениям. Натура рядового лесовика посконна и домотканна в части осязания высоких материй и далеких перемен. Живет он одним днем, тем более в идеалах и практическом разрешенном достатке обобществления.

...И было *de profundis*, то есть из бездны (будущего) на латыни, мрачное видение с предостережением тулуповским писарям в один из зимних вечеров в избранном кругу собравшихся скоротать за беседой о писчебумажном искусстве рано наступящую по времени года уличную темень в присутственном месте Льва.

♦ Лев поросятине предпочитал селедочку пряного посола из тулуповского магазина столичного купца Елисеева. Не потому что склонялся к магометанству, но накрепко вбил в память слова деда в смысле уважения к селедке в чине закуски к сивухе. Уважая старшинство Льва в должности, а значит и в истинности утверждений, вечерние собеседники по обычной раскладке сделали коллекту в рябчиках и отправили самого молодого — из недавно обилеченных — за оной сельдью, очищенной, салом с мясной прослойкой в палец толличной, холостяцкой колбасой и хлебушком. На новоприобретенных крыльях Пегаса тот оборотился скоро, не успел Лев по разудругому обставить (уважал он и эту индийскую забаву) в шахматилки пару своих подопечных. Не считаясь по приватности обстановки чинами, не в подхалимские поддавки играли, но всерьез.

Не успели освежиться по первой, разгонной, как вошел, отряхивая густо поваливший под вечер снег с шинели, особливо с поддельного бобрового воротника, запоздавший писарь. Разоблачившись и приняв с морозца стопку (ранее выставил на стол принесенный полуштоф), разъяснил причину невежливого опоздания: «Извиняюсь, господа писари, не рассчитал времени, делал крюк до участка». На него в наступившей тишине внимательно посмотрели: кто с сочувствием, иной злорадно. Но когда запоздавший с прирожденным слогом рассказчика — прозаиком был недурственным — поведал занимательную историю, приключившуюся с ним, присутствовавшие расхохотались и даже предложили тост за кастальские музы, оберегающие и в личной жизни своих подзащитных писарей. История же заслуживает внимания, кое мы и обратим на случившееся.

Три дня тому назад на Крещение писарь *N.* — из лосиноного сословия — крепко загостился у кумы — под отменного поросенка и запивку к нему. После третьей стопки все опасения писаря относительно позднего возвращения домой, как то водится, улетучились. И кума, разохотившись на сливовую наливку, забыла про остерегательную присказку: что знает кум, знает и кумова супружница, а по ней и весь околоток.

Словом, поздно вышел в направлении родного очага. Как ни потчевала его заботливая кума румяной поросятиной и разносолами, но забористая очищенная своим градусом взяла уверенный верх над закуской. Да и крещеный мороз на славу щипал. От спутанной ходьбы Лося то в жар бросало, то в стылый озноб; песню сам-один заводил или похитоску от фабрики купца Стамболи пробовал раскурить — все не по-

лучалось, словно не лосем он был, но разлаженным часовым механизмом, где пружинки и стрелки каждая сама по себе стремится вертеться. Видать под конец неверного по избранному курсу пути, почти обочь родного очага, вышние силы порешили наказать писаря за приязнь к красотке-куме: дорогу к дому загородила казенной окраски кибитка, прозыванная лесным народом «черным вороном», а с облучка спрыгнули двое городских со словами: «А вот извольте, полупочтенный, с нами в холодную прокатиться!»

...Надо сказать, что во времена обобществления не водилось большей кары для любого партикулярного и даже чиновного XIV—X классов лесного обитателя, нежели препровождение в холодную — в целях провозглашенного с высоких ассамблейных трибун повсеместного и радикального отрезвления. К тому же в описываемое время происходило замещение зоологических видов в среде городских, квартальных и околоточных надзирателей, урядников и прочих нижних чинов по ведомству министерства внутренних дел. На смену пожилым, многоопытным в житейской толкотне, оттого рассудительным и в рамках узаконений даже благодушным оным чинам из отставных армейских ефрейторов и унтеров массово устремился на непыльное занятие молодняк из стайных зверей, каждые полгода скороспело выпускаемых из приготовительных училищ по ведомству губернских полицмейстеров. Тонкостей сложной лесной жизни они не понимали, данную им власть злоупотребительно и мстительно использовали со всем молодым размахом, имели склонность к дармовым рябчикам и очищенной. «Молодым везде у нас дорога», — распевала вся *Наша страна*, а таковые из полицейских нижних чинов в части усердия соревновательно считались друг перед другом, околоток перед околотком, участок перед соседним таковым. Жертвами такого азарта и становились лесные обитатели, на время забывшие про радикальное отрезвление. Даже ежели чуть запашок от них исходил или на давно нечищенном тротуаре лишний шаг влево-вправо неловко совершил, выскивая путь поровнее. Тотчас из подкатившей кибитки: «А вот извольте, полупочтенный, с нами...».

Продрожал Лось ночь в стойле холодной под тонкой казенной попоной, а наутро — к выписке в канцелярию участка. Как положено, на руки ему для оплаты окладной штрафной лист. И местом службы для воспитательной цели посылки в оное рескрипта «разобраться и наказать» интересуются. Отрезвевший, хотя и не очень радикально, Лось рапортует: «Писарь есмь обилеченный; в Тулупис шлите рескрипт. Видите — перед вами билет!» Про себя же — здесь уж радикально — усмехается, мол, свой-то Лев не выдаст и не съест, ограничится междуособными воспитательными беседами за очищенной и селедочкой от купца Елисеева...

Хорошо сказывается, да инда прескверно оборачивается! «А эт-та что? — усмехаясь нехорошо в белесые еще молодняковые усики, канцелярский подпрапорщик тычет в удостоверительную книжечку, изъятую накануне отправки в стойло холодной из кармана сюртука Лося. Похолодел тот: и зачем только вместе со спасительным писарским билетом накануне, явно машинально, упрятал в сюртучный карман удостоверение сотрудника губернских курантов «За родную трущобу», в коих он редактором по сочинительскому подвалу четвертой полосы зарабатывал рябчики на домашнее семейное харчевое довольствие.

А подпрапорщик, обозленный своим табельным по чину ничтожеством, да еще лицезрея перед собой аж целикового писаря, мстительно записывает в амбарную книгу для рассылки уведомлений «разобраться и наказать», изустно комментируя для побледневшего писаря: «Раз из губернских курантов, то это натурально должно препроводиться по ведомству его превосходительства предводителя. Так что готовьтесь, любезнейший нарушитель благочиния, представить перед кем следует. Это вам не пасквили в свои книжки заносить гусиным пером!»

Вышел ошарашенный случившимся Лось из канцелярии на свежий воздух, а там благодать: небушко лазоревое и солнышко, аж в глазах рябит, лучами своими отскакивает от белого-пребелого чистого снежка, что за ночь выпал. Во дворе, что промеж флигелей участка, давешние молодые городовые тот же снег обметают с кибитки. По молодости и солнышку веселы с утра, да еще вчера после подвигов злодейских завернули заночевать к знакомым курсисткам из тех, что недавно, встретив выходящими в веселии из ресторации, не стали забирать с собою, а договорились завести дружелюбие. Оттого не только веселы молодцы, но даже давно забытое благодущие на них отражается, приветствуют Лося: «А-а, полупочтеннейший! Как спалось-нежилось на наших пуховиках? Ха-ха-ха!»

Как истинный инженер лесных душ, Лось и использовал подмеченные намеки на благодущие. Угостил городовых пахитосками от Стамболи, поинтересовался: к кому, дескать, из вышестоящих чинов можно обратиться по части раскаяния и уверения в устремлении к радикальному и повсеместному? «Надоть, полупочтеннейший, иди прямо к его высокоблагородию майору. Он надьсь принял в управление участок. Сам подполковник по разнарядке сверху на ревизию благонравия в дальнюю чащобу убыл».

Зашел Лось в участок через парадные двери, поднялся на второй этаж, вошел с докладом, мол, писарь такой-то по лично-общественному делу отношение к его высокоблагородию имеет,— через дежурную регистраторшу кобылку — в майорский кабинет. Памятуя (ведь инженер же душ!), что старшего чина на мякине не проведешь и всякий бюрократ служебный уважает, когда проситель паче всего налегает на округлении периодов, Лось кратко и толково исповедался во всех грехах, только опустив кумовство и разделив общий объем выпитой в гостях очищенной на знаменатель «три». Нельзя ли ограничиться его, майора, устным порицанием...

Майор, пребывавший доселе в некотором рассеянии задумчивого свойства, с какого-то боку заинтересовался (инженер душ это тотчас пронизательно отметил) упоминанием Лося о писарской принадлежности, но для регламентного порядка заученно, отстраненным голосом что-то скороговоркой сказал «о появлении в общественном месте в виде, порочащем честь и достоинство лесного обитателя». И почти сочувствующим голосом добавил: «Что-то вы, представители искусства и научных упражнений, опосля Рождества расслабились. Понятно, от трудов праведных, но блюсти законоуложение даже в праздник следует! Вчера профессор приходил с похожей на вашу просьбой. Позавчера аж сразу два доцента и целиковый оперный бас на гастролях! Э-эх, понимаю вас, творческих личностей... Да-а, вот вы писарь... а реферации, наверное, также умеете сочинять отменно?» — «Конечно, ваше высокоблагородие! Только тему реферации, объем в авторских или обычных писчих листах и срок исполнения». — «М-м-м, я, видите ли, заочно прохожу курс в столичной академии по нашей службе. Запоздал из-за всесветской занятости, а реферацию уже через три дня следует препроводить нарочным попутным. Думаю, листов тридцать писчебумажных, а тема: «Благонравный и моральный облик городского во исполнении идеалов обобществления». Возьметесь?» — «Так точно, вашбродь! — в полнейшем душевном восторге отрапортовал, вскочив со стула Лось,— исполним в срок в высшей степени резонности». — «Ну и ладненько. Жду вас ввечеру на третий от сего дня. Я же сейчас регистраторшу спосылаю в канцелярию за вашим *делом*. Ограничимся замечанием».

♦ «...И вот, други мои писчебумажные, тотчас после такого занимательного разговора с майором помчался иноходью в общенародную публичную библиотеку, вытребовал с десяток брошюр по названной предметной принадлежности и — домой в родную конюшню, к деткам малым, к скандалу с супружницей за неявку к семейно-

му очагу в прошедшую ночь. Помирился, дозволенно опохмелился и за работу! И настолько за эти дни, потрясенный великодушием майора, проникся добрыми чувствами к облику городского, верноподданностью и благонамеренностью в отношении обобществительной власти, что создал, не постесняюсь прилюдно похвастаться, шедевр, достойный пера Макиавелли и Гвиччардини*! А майору от души желаю по выпуску из академии дослужиться до полковничьего чина. «Все хорошо, что хорошо кончается,— резюмировал Лев,— однако ты, брат Лось, идучи вновь к куме, оставляй дома удостворенье курантовское, а то бед потом не оберешься. Да и нам почти забытого в верхах Лошака припомним!» — «Гп-пру, Лев! — встрепенулся Степной Волк,— не буди лихо, пока оно тихо! А ты, достопочтеннейший обожатель кумовства, не хуже чем в реферациях для твоего нового приятеля майора блюди мораль и нравственность». После чего своим замечательным голосом исполнил про кума, что к куме судака тащит. И добавил по окончании сольного номера: «Чтой-то у нас под занимательную повесть Лося все бутылки доньшко слишком скоро казать стали. Давайте еще раз коллекту спроворим и пошлем кого-нибудь за добавкой на сладкое. Поддержим, значит, еще Горькоусого Моржа почин о содружестве писарей с правоохранительными чинами.— Это я о поездке его на Беломор-канал говорю. А у нас — Лося с майором-академистом! Так сказать, городской на посту бодрствует, натуральным предметом обобществленную нравственность блюдет, а вдохновенный — кумой, полуштофом очищенной или удачным визитом за рябчиками в издательскую кассу — писарь строчит гусиным пером день и ночь (если жена или кума не воспо-требуют к себе) про деятельность по распространению в обществе здравых мыслей о всеобщем отрешении с исключением из обихода лесных обитателей излишних чувств и мыслей, заодно и совести, в части намеков на потрясение основ и подрывание устоев...» — «Ты, брат Степной Волк, зарпортовался совсем. При чем здесь совесть? Вот у кого она есть, тот и побежит за добавкой!»

Отправили Барсука Песенника, хотя и заметно расслабившегося, но по шахтерского рода занятию прошлого крепко чувствующего под ногами твердь земную.

Пока твердолапый Барсук Песенник в темень и густой снегопад исполнял общественный заказ, несколько сморенные выпитым горячительным и надышанной духотой крохотного кабинета-берлоги Льва писари перешли к сочинительской части неуставной ассамблеи. Сам хозяин задал для поддержания у подчиненных бодрственной действительности тему: является ли трехчастное строение более всего сообразным осязательному содержанию классического романа?

...Надо заметить, что к описываемому золотому времени для писарской, не исключая и тулуповскую, самодеятельности под опекой Лесписа и его губернских отпочкований если не каждый второй, то третий-четвертый безо всякого сомнения обилеченный являлся сугубо грамотным по части словесности, понеже прошел курс Высшего писарского училища. Потому в Тулуписе на вечерних междусобойных ассамблеях не токмо штофную очищенную под пряного рассола селедку (лучше атлантического улова — она икристее) употребляли, но и теоретизировали о содержании писчебумажного искусства, касаясь высоких материй. Зачастую высказывались здравые мысли о перенесении идеалов на почву практической полезности, что положена в основание всякой лесной обобщественности. Иногда в восторженном полете фантазий, обычно после пятой-седьмой стопок, до таких эмпиреев договаривались, что Лев — наравне со всеми угощающийся, но по причине наложенного на него подполковничьего чина не расслабляющийся — опасно прикрывал отворенную для вентиляционной свежести присутственного места форточку и призывал к вящей благо-

* Выдающиеся итальянские политические мыслители, писатели и моральные эссеисты конца XV — начала XVI вв. (прим. ред.).

намеренности: «Что-то, братцы писари, лошаковским задором у нас запахло. Или рябчики карманы жгут? Наскучило получать присвоенное содержание, а? Так-то, лучше нишкни. Время хоть на дворе стоит благодушное по общему климату, но ведь всегда по нашей лесной докуче невинный как раз за виноватого сойдет!»

На такое отеческое остережение грубый Степной Волк, изрядно ободренный очищенной, с шутливой сурьезностью обыкновенно именовал Льва душителем общественного цветения и уполномоченным Третьего отделения известной канцелярии. И нарочито восторженным голосом исполнял соло и а капелло героическую песнь о Стальном Барсе.



Главный редактор провинциального литературного журнала «Речные зори» Яцышен Андреян Макарьевич совсем отчаялся заинтересовать губернские власти полезностью своего издания для поднятия культуры и образования вверенной этим властям губернии. Вроде как все власти — и законодательная, и исполнительная — не отрицают этой полезности, но участвовать финансово в издании журнала все как-то не получается: администрация кивает на думу, а думцы, ссылаясь на укрепление вертикали власти, все на администрацию валят. Словом, круг замкнулся, никто не хочет помочь инициативнику Андреяну Макарьевичу. Ладно, власти, у них забот полным полно: как, не отвлекаясь на капитальное строительство и ремонт коммуникаций, что хлопотно, долго и не броско для высоких проверяющих комиссий, поскорее истратить спущенные сверху от нефтедолларовых щедрот. Но даже собратья-литераторы в лучшем случае не замечают журнала, чтобы, не дай бог, Яцышен не привлек их к редакционным работам, а другие и вовсе вредительством занимаются. Политико-эротический романист Сухариков пасквили на журнал и на Яцышена в заводских многотиражках тискают, а историко-порнографический сочинитель Омшаников все обижается: дескать, не упрощивают его опубликовать в журнале трехтомную «Песню о коршуне». И вообще какие-то явно клинические личности, члены писательского союза, надоедают.

Тяжелое это дело, современную литературную ниву возделывать!

...На сей же раз, уловив в предложенной Львом дискуссии сакраментальное числительное «три», начал отвлекаться на противоречие повсеместного и радикального отрезвления лесного народа с идущей еще от князя Владимира традиционностью питья «на троих». Лев все же попытался вернуть русло общей настроенности к преимущественности трехчастного дробления романтических сочинений, но растворилась дверь, в которую вошли обсыпанные крупнохлопчатым снегом Барсук Песенник и за ним с овчарной собакой на постромке здоровенный усатый цыган в длиннополой драповой шинели с каракулевым воротником, что в лесном народе шутейно называют «гроб с каракулем». Цыган изумленно тарасился, сверкая белками выпученных глаз и явственно шевеля иссиня-черными усищами. Овчарка же, заметив на столе порезанную на газете колбасу, уважительно взмахнула хвостом. Известно дело, цыган лошадь через два дня на третий кормит, не говоря уж о собаке...

Барсук тем временем выставлял из своей дорожной сумы полуштофные бутылки и рассказывал о встрече с родственной по песенной приязни цыганской душой, рекомендуя обилетить оную душу, а собаку поставить на довольствие Тулуписа, проведя в окладных листах, что ежемесячно отпечатывает на ундервуде Птица-Секретарь, по графе сторожа тулуписовского присутствия.

...Даже давешний герой дня Лось, лишь недавно приобщенный к лику писарей, сообразил: сдружившиеся на почве приязни к стихотворно-песенному искусству Барсук с цыганом (обнеся собаку) на уличном снежном просторе распили-таки полуштоф. Вот его и понесло на человеколюбство и всеобщее доброжелательство после превышения регламентной для природы нормы. Хотя бы и высокой, как у бывшего шахтерского углекопателя.

...Долго потом цыган, сначала детишкам, потом и подрастающим внукам долгими зимними вечерами рассказывал у каминного огня (был он оседлым, в лихоимные «девятьности» соорудившим для семейства двухэтажный шатер с мезонином и флигелем — рябчики за торговлю опиумным маком) о далеком времени обобществления. Наиярчайшим воспоминанием у него выходило случайное знакомство с обитателями то ли богоугодного заведения для душевно больных, а может и какого присутствия по непонятой им, слабограмотным (только надписи на рябчиках разбирал по складам) ромалэ, чиновной принадлежности. Веселые и нетрезвые обитатели этого заведения все зазывали его и собаку Рекса куда-то записаться согласно табели о рангах, угощали очищенной, а Рекса краковской колбасой. Старшой же их лев, хотя по обличью медведь, все предлагал ему сыграть в древнеиндийскую игру в маленькие фигурные цапки, настаивая, что-де Индийское плоскогорье суть родина их, ромалэй. «Хорошо, внучата мои, ноги мы с Рексом сумели унести, а то бы привели в полную нетрезвость и сожрали на закуску!»

♦ «Какую природу из самой гущи лесной жизни я вам нашел! — зашелся в восторге Барсук Песенник, когда затворилась дверь за ошарашенным цыганом и изумленным псом, — прямо тебе, к примеру, Степной Волк: садись за стол, запасшись стопкой дестей бумаги и пуком гусиных перьев, и сочиняй романище аж в двух томах! Сам понимаешь, в *Нашем лесу*, особливо в столицах и университетских центрах, на ура привечаются сочинения о малых классификационных — по Линнею — семействах лесных обитателей. Потому и гонорарные оклады за них начисляются по верхней табельной ставке». — «Спасибо тебе, брат Барсук, на добром слове. Отрезвишься, сам поймешь, что глупость сморозил. Свято место пусто не бывает, а по части цыган даже в нашем Тулуписе оно давно занято по рифмовальной части! Зачем же я стану трудовой приварок у Дрозда отымать?» Присутствующие с Волком согласились. Разлили по очередной.

Действительно, не обиженный музами Каллиопой, Эрато и Эвтерпой в рифмовании и чувственной предметности Дрозд, известный и в соседних лесных губерниях,

еще до писарского обилечивания тискал в обоих тулуповских курантах недурственные лирические вирши, указывая в скобках после своего прозвища: *перевод с цыганского*. Сочинительский и просто читающий народ посмеивались, но обилеченные писари, хорошо знающие гонорарные таблицы, мигом сообразили в чем тут дело, начали приставать к Дрозду: укажи-ка нам на такового способного к сочинительству цыгана? И откель ты сам-то цыганское наречие ведаешь дабы переводить?

Дрозд неопределенно отвечал, что цыган тот кочевой, таборный, дескать, «цыганы вольною толпою по Бессарабии кочуют», встречи наши случайны, когда он, Дрозд, одержимый муками творения, «обходя леса и веси...» и прочие благодушные байки рассказывал. Переводы же он рифмует по подстрочнику, который с оригинальной записи для Дрозда за умеренную плату делает знакомый ему тулуповский цыган — оседлый и грамотный. Собратья по перу, выслушав оные благоглупости, с серьезным видом соглашались кивали головами.

Обычно после допроса Дрозда писари из очень грамотных, окончивших курс Высшего писарского училища, пускались в исторические реминисценции. Сейчас, мол, некоторые ловкачи — не указывая конкретно на Дрозда, но соблюдая аглицкое правило: беседующие джентльмены не имеют в виду присутствующих — свои вирши подписывают аки перевод с какого-либо диковинного для лесного обитателя наречия, за что им ставку построчную в рябчиках повышенную уплачивают в курантах. Но и они не первые шельмовству такому ход в писарском обиходе дали. Здесь пальму первенства держат классики из Галльского леса, обитатели которого признанно самые охочие до рябчиков изо всей Европы. Здесь почин дал Дюма-пер, указав своим писарям-«неграм» как можно более вводить в повествования строк прямой речи из одного-двух слов. В те времена в Галльском лесу издательские учреждения и за прозу начисляли ихние рябчики построчно.

Но и наши, особенно из рифмовального сочинительства которые, в начале этого века все пробовали побольше рябчиков из издателей-книгопродавцов вытянуть. В этом соревновательном действе издатели шли на полшага вперед, но поэтические сочинители не зевали, не благодумствовали в своих лавровых венках, но тотчас, как народ молодой и подвижный, настигали рябчикодателей. Как только те и другие не ловчили! Введут издатели таксу оплаты построчно — тут же Маяковский с сотоварищи из футуристов, а за ними дадаисты и ничевоки, начинают сочинять «лесенкой» — по одному-два слова в строке. Дескать, по строкам как по лестнице они взбираются к идеалам свободы и общественности. Огорчатся донельзя издатели из того же «Мусагета» и «Шиповника», перекинутся на зайчиковый тариф по числу букв в строке, но не тут-то было! В сей же миг даже серьезный Михаил Кузмин, аки человек-колюбец, вспыхивает к архаичному александрийскому стиху, в котором строки столь длинны, что еле умещаются по ширине страницы.

...Много тому примеров в мировом и нашем сочинительстве. Нет, конечно, не рябчиковая ставка первенствует и лежит в основании всякого писчебумажного творчества. Упаси бог так полагать! Было бы такое, так ко всем словесным творцам можно отнести пютчевские слова:

*Теперь тебе не до стихов,
О, слово русское, родное!*

Нет, семижды семи нет! Серьезный сочинитель, а не случайный попутчик муз источников Иппокрена и Кастальского ключа (дескать, придет иногда идея в голову что-либо сочинить этакое *a la* Хлестаков), беззаветно отдается своим творческим ощущениям, порой даже отгоняя навязчивые мечтания о Скрижалях. Но для покой-

ного, рассудительного творения высоких истин в приближении к идеалам добра и справедливости голова, руки и ноги (они лишь волка кормят...) сочинителя не должны отвлекаться на предмет добывания продовольствования, обмундирования партикулярного, прогонных и представительских — для публичности потребной. По такой раскладке рябчики для творца писчебумажного искусства суть не роскошь и баловство, но приравниваются к гусиному перу («Я хочу чтоб к штыку приравняли перо!»), то бишь есть оружие производства. Здесь даже Карла Маркс не возразит, будучи создателем науки о накоплении и распределении богатств. В таком свете погоня за числом рябчиков за строку или букву представляется вовсе не хитроумием, но лишь дитяческой попыткой стать менее зависимым от обстоятельств обыденной жизни в части продовольствования и иже с ним связанного. И только. Наитие по ребяческой наивности. Да и дураком, каковых даже в церкви бьют, в обыденной жизни вовсе не следует быть.

...После удаления из присутствия Тулуписа озадаченного цыгана с верным Рексом Лев все же сумел призвать развеселившихся писарей к серьезной пристойности и вновь повернул их мысли к теории сочинительства в части соображений о предпочтительной трехчастности действия романа. Свои утверждения Лев основал на том, что троица есть основание всякого дела: от церковного до обобщественного писарского: «...Первая, заглавная часть романа открывает читателю перспективу самого сюжетного действия, каковое и свершается в основе своей во второй части. Завершающая же предуготовляет слабограмотного к «опусканию занавеса», а вдумчивого к восприятию морального, нравственного урока, преподанного чтением и...». Здесь грубый Степной Волк возник поперек рассуждений умничающего Льва в том наклонении, что «вот Достоевский тебя не слушал, наверное, просяживая в Баден-Баден гонорарий за «Игрока», потому самый свой гениальный роман «Братья Карамазовы» сочинил не в трех, а в четырех частях. Да еще с эпилогом! И морализующий стержень, то есть легенду о Великом инквизиторе не в окончание вставил, явно не следуя твоему совету, а во вторую главу. Так у кого учиться будем: у Федора Михайловича или у тебя, Лев?»

Только Степной Волк упомянул о Великом инквизиторе, как во внезапно захватившей тулуписовское присутствие пронзительной тишине, при наглухо закрытых входной двери и оконной форточке, на оробевших от непонятного еще предчувствия повеяло зябким холодом, а в ушах глухо зарокотал незнакомый им голос, как из преисподни:

*В великопных автодафе
Сжигали злых еретиков.*

Не успели потерявшие дар словоохотливой речи писари сообразиться настоящим моментом, как заскрипела (кстати, обычно бесшумная; петли ее Лев самолично раз в полгода по-хозяйски смазывал) тягучи дверь и... в комнату присутствия вошел Великий инквизитор.

...Вплоть до отмены обобществления, когда воочию начали сбываться вещие предсказания Великого инквизитора, присутствовавшие в тот достопамятный вечер у Льва тулуповские писари и в полной отрезвленности, и в различной хмельной наглядности без конца обсуждали: что же тогда с ними такое приключилось? Кто-то склонялся к общему гипнотизму, произведенному предбывшим перед видением Великого инквизитора цыганом, обиженным неприятием в писари. Известно дело, цыгане могут кого угодно околдовать; цыганки-гадальщицы тому понятный всем манер. Опять же издавна лесной народ подозрение на ромэлов держит в части их кумовства с тайными силами. Сам Лев склонялся осторожно к переусердствованию своих подо-

печных в сочинительстве романов и поэм с вольнолюбивым, изуточно властью дозволенным уклоном в сторону всяких небылиц, что и побуждает к проявлению лишних чувств, мыслей и гражданской совестливости. Понятно дело, Лев рассуждал туманно, но по пристойности; наложенный на него чин обязывал...

И другие мнения глубокомысленно излагались. Только на очищенную в полуштофовых никто не грешил: в эпоху обобществления с монополюшкой строго регламент держали. И в лавках, а тем паче у целовальников в трактирах. Это все потом появилось, когда с лихоимных «девяностых» начали отравлять пьющий лесной народ.

Point sur les "i" поставил Степной Волк, оживив грамотных писарей, что прослушали курс Высшего писарского училища, потому не только «Преступление и наказание» по гимназическому расписанию прочитавшие, но и другие романы Федора Михайловича. «А вспомните «Братьев Карамазовых», после упоминания которого в тот вечер и случилось видение Великого инквизитора? Алеша Карамазов возражает брату Ивану, что-де встреча Христа с Великим инквизитом в шестнадцатом веке в Севилье не могла иметь места быть, коль скоро не отражена она в святоотеческих и цивилизных писаниях. Иван же, равнодушный к церковным догматам и историческим сочинениям, где всяк автор протаскивает, сообразно своим встревоженным бессознательностью мыслям, нужную ему идею, чаще *idea fix*, успокоил брата. Почему бы это не считать просто фантазированием досужего сочинителя легенды? Или дряхлому умом и плотью в свои девяносто лет Великому инквизитору его же собственные тайные мысли о подпадении еще восемь веков тому назад христианства во власть Князя мира сего, то есть Антихриста, приобрели предметность в воображаемом монологе его перед Христом, не проронившим ни единого слова? Ведь суть-то легенды не собственно в фантазмагории невероятного посещения Христом Севильи вдрюгодень — после сожжения на костре сразу ста еретиков и его встречи с Великим инквизитом, но совсем в ином, о чем только что было говорено.

Сомнения не покинули Алешу Карамазова, но предуготовили его к рассказу брата Ивана.

Так и мы, якобы лицезревшие в достопамятный зимний вечер явление Великого инквизитора, не будем ломать головы догадками, благо оные, в смысле головы, на другое дело нам даны, но воспримем все как есть: голос *de profundis* о наступлении скорой для нас, писарей, поры полного ничтожества... увы».

Все и согласились с разумными доводами многомудрого Степного Волка.

♦ Вошедший Великий инквизитор по немислимой дряхлости своих лет имел наружность иссохшей просмоленной египетской мумии. Комната вмиг наполнилась ароматической затхлостью слежалых восточных специй, что наблюдается в лавке колониальных пряностей жарким летом. Хорошо зная не меняющийся столетиями писарский обиход, Великий инквизитор достал из полураспахнутой полы плаща квадратную четвертную бутылку, покрытую патиной древности, в которой тяжело переливалась густая малага; поставил с приличествующим пристуком на пиршественный стол со словами: «Это вам привет от собрата по сочинительству Мигеля Сервантеса де Сааведра». Востроглазый и сметливый по части компанейства Пушистый Котик мигом подставил обтянутое дерматином полукреслице, смахнув с него невидимую пыль. Великий инквизитор поблагодарил опусканием сморщенных временем век и начал свой монолог.

«Люди вы грамоте знающие изрядно. Потому не буду передавать вам сказанного мною четыреста лет назад в Севилье Христу, посетившему наш грешный мир. Ваш великий Достоевский все верно передал в «Братьях Карамазовых». А кто не успел прочесть роман, увлеченный зарабатыванием рябчиков, тому сообщу основную мысль, вывод из моего монолога, донесенного до Спасителя. Даже не своими словами, но Бер-

дьява, вашего же леса религиозно-философского мыслителя: *«Бог открывает себя миру, но Он не управляет этим миром. Этим миром управляет князь мира сего».*

Такое управление, отсчитывая от сего дня, вступило в полномочную силу тысяча двести лет тому назад. Но только сейчас слуги Князя мира сего, в числе которых я далеко не из последнего десятка, можем сказать притчей: не тот пахарь, кто много пашет, но тот, кто любит на поднятую им пашню. Под водительством Князя Антихриста мы уже сам-пятьдесят урожай наш собираем, не выказывая ни малейшего сочувствия к тревогам и тоске уходящего в полное небытие мира забываемой христианской морали, что некогда после Нагорной проповеди Христа, она же Заповеди блаженств Нового Завета, так вдохновила человечество. Увы, все доброе в подлунном мире преходяще. Потому четыреста лет назад и продлил Князь мира сего мою земную жизнь, обратив ее в вековечную, что надобность во мне возрастает век от века. И именование мое сейчас иное: *Великий глобализатор*. Но поскольку такое тавро лишь к окончанию сего тысячелетия, до которого ничтожное по историческому измерению число лет осталось, войдет в обиход, то для вас остаюсь пока Великим инквизитором.



За спиной каждого несправедливо живущего стоит черт, житель преисподней. Примерно так святое Евангелие выражает свое отношение к институту частной собственности. То есть каноническое христианство, православие особенно, совершенно однозначно относит ее к проявлению в человеке темных сил от Антихриста. Идеал нравственного человека по Христу — это указание совершенствования людей и общества в целом на многие века и тысячелетия вперед. Преодолев инстинкт частнособственничества, человек перестает быть биологическим видом, животным и начинает выполнять ту миссию, для которой он и был создан всей предшествующей эволюцией. Это почти удалось в краткой истории СССР, но Антихрист (временно) одержал победу руками своих верных клеветов на Земле — «атлантистов» Запада, исповедующих извращенное Кальвиным христианство; основной завет протестантизма: Господь любит только избранных, а таковых отличает исключительно большое личное богатство.

Дай бог нашему теленку волка съесть, как говорят в вашем лесу, испытывая сомнения в провидческих словах, но явился я к вам не с предостережением, каковое всегда глупо звучит для живущих и одним днем, и незыблемой верой в некие светлые идеалы, что положены в основание всякой общности... у вас даже обобщественности. Нет, по регламенту канцелярии Князя обхожу шар земной, вхожу в гущу его обитателей, в разные присутствия навроде вашего, в счастливые и нестройные семьи, в парадные подъезды правителей и чинов первых классов, в трущобы и чащобы живущих первобытно, к последнему нищему и самому богатому на земле. Вхожу и рассказываю, как вам сейчас, о скором явном, ибо неявен он давно, пришествии Князя Антихриста с умерщвлением даже робких воспоминаний о Христовой морали.

Опять же это вовсе не антихристово «просветительство», но поручено мне ответственным за то столоначальником департаментской канцелярии Князя таковыми пробами определять готовность мира к окончательному отходу от христианских правил жизнеустройства в преддверии перехода под полную и явную державность Антихриста. Учитывая разношерстность моих слушателей, я и ориентир держу на их интересы. Для вас, всенесомненно, на эмпирии и практическую предметность сочинительства в наступающую эпоху.

...Как в нашем с Христом свидании в Севилье шестнадцатого века, убеждаю вас речь мою не прерывать разного рода вопросами, эмоциями и всякими иными междометиями, коль скоро они по существу зазвучали бы благоглупостями. Ибо я знаю все наперед в ходе Истории, вы же суть сущие неразумные дети, ибо всякому живущему законами ее, Истории, не дано даже в нулевом приближении, как выражаются натуральные философы, то есть упражняющиеся в математике, догадываться о бытие внуков... не говоря о правнуках. Итак, слушайте. Степному же Волку не должно злоупотреблять подаркам великого и наивного Мигеля Сервантеса де Сааведра. Успеется еще на наших с вами росстанях.

♦ Хотя вы и не столь великие, лишь в потаенных мечтаниях обзирающие окрестности Скрижалей, но столь же наивны, как и мой севильский земляк Сервантес. Творите себе по отпущенной матерью-природой мере брызг-таланта Кастальского ключа и источников Ипокрена; удовольствие, что не ведомо большинству лесного народа, от сочинительства имеете вдосталь, да и на продовольствование с прогонными и подъемными умеренно, как то принято в вашем обобщественном мире, рябчиков от курантов и издательских заведений получаете... и не задумываетесь: почему вам *единственным* на земле такая благодать положена и сколь еще по быстротекущему времени сие продлится?

Знаю, возражение припасено: Горькоусый Морж убедил Стального Барса в благоденственной пользе всяческой поддержки писарства как блага, необходимого для развития и цветения обобщественности. Что ж, соглашусь сообразно такому извороту течения Истории. Отчего я говорю об этом с видимым огорчением голоса? — Да по той причине, что появление *Вашего леса* с первенством Марксова обобществления и объявлением всякой собственности сверх положенного регламента умеренного содержания есть прямое потрясение основ и подрывания устоев царства Князя мира сего, которому я подчинен, что сложились во всех умах и общности тысячелетие с лихвой назад, о чем я и сказал Христу во время той достопамятной встречи, воспроизведенной великим вашим Достоевским. И Великий бунт *Вашего леса*, случивший еще до появления на свет большинства из вас, хотя бы на время и далеко не во всем земном мире повернул нравственный, моральный эдикт Истории вспять? Это стало сродни второму пришествию Христовой веры в уже давно отвоєванный у него Князем мира сего ареал духовного властвования. Вдругорядь после давних проповедей Христа «не хлебом единым жив» в *Вашем лесу*, спустя две тысячи лет, зазвучали

призывы к исполнению заповедей Нагорной проповеди, хотя бы они и были наречены по-другому: о следовании морали (читай — Христовой) обобщественности. И здесь не пресловутое «читаешь книгу, а видишь фигу», но точнее следование в иных словах примату свободы духа над телесностью, то есть над хлебом и дающим оный в искушении отказа от такой свободы. Как Христос в своей земной жизни богочеловека отверг в пустыне три искушения Князя мира сего, так и ваш обобществленный лесной житель не преступает нормы христианской морали. Если бы и хотел поменять свободу своего духа на дармовой хлеб и рябчики (а слаб по натуре земной обитатель!), то прочные устои общественности не позволят. Крепко заложено в обобществленных головах: «рад бы в рай, да грехи не пускают» и «скорее верблюд пройдет через игольное ушко, нежели богатый попадет в рай».

Да чего это я вас, многомудрых, на худой конец многохитроумных, на обобществленную жизнь склоняю! Сами все, почитай от младенчества, ведаете. Здесь важен вопрос иной: зачем Истории, для которой и Христос с его Св. Троицей и Князь мира сего на одних фемидиных весах взвешиваются, то есть полностью беспристрастна она ко всем чувствованиям, идеалам и грехам... для чего потребовалось Истории в уже обустроенное под властвование Князя Антихриста течение жизни революционным манером вновь вводить исповедание на 1/6 части земной суши морального жизнеучения своего антипода Христа? Хотя бы, как уже сказал и вам прекрасно ведомо, в другом лексиконе. Но это лишь Князю этот возвратный кульбит нужен, как после ужина горчица. История же повелевает незримо надо всем и всея: Христом и Князем, душами и телами, великой свободой духа и неимоверным рабством воли, честностью и предательством, ибо она ведет все зоологические разновидности живых тварей — от мельчайшей тли до совершенства природного деяния, то есть человека — путем эволюции в только ей ведомом устремлении. Также же и в части свободы духа, не меняемой на дармовой хлеб, что лежит в основании всякой общественности.

Только не говорите, что История полностью и без оговорок признала правоту Марксова учения об обобщественном накоплении и распределении богатств! Этот изрядно ученый муж все верно и без обиняков поведал об обобщественности, к которой мир в некоторое, пока еще далекое, время оно неизбежно придет. Но только не в общественном цветении Марксовом с его золотыми нужниками, но в ином качестве: всеобщее и полное равенство, обеспеченность продовольствованием и допустимыми единым мировым регламентом телесными радостями, но — без личностной свободы, как ее проповедовал Христос. Словом, винтики-гаечки всемирной машины — как таковые на бумагопрядильных фабриках Иваново-Вознесенска, или как там он у вас сейчас именуется? Я не неграмотный в географии, просто предыдущий раз побывал в *Вашем лесу* век тому назад, когда, незримый, через плечо Федора Михайловича подглядывал, словно гимназист-приготовишка, в каком-то одушевлении и натурной действительности перо великого писателя и мыслителя вырисовывает мою парсуну. Мысли, конечно, тож.

Не по Марксу будет представлено будущее всемирное обобществление. Здесь в пору сказать: свят дух на землю, да диавол сквозь землю — но только не в том понимании предмета сей вашего леса присказки, что Христос в душах всегда побеждает Антихриста, но напротив: в грядущем всеземном обобществлении от заповедей христианства, упомянутого свят духа, остается только оболочка, лежащая в основании любой общественности, этакое механистическое соединение, каковое наблюдаем в животном, бездуховном мире, навроде муравейника, пчельника, а в местах иных климатов — термитника, в растительной природе — мшанник, кораллы в индийских морях. И для бывшей, увы, уже во многом и сейчас предбывшей, вершины творения природы — человека вашего же леса — глубинный философский писарь Зиновьев,

что сейчас в высылке в Немецтинскую дубраву, придумал его будущее поименование: *человекник*. Словом, охота смертная, да участь горькая...

Антихрист же, он же Князь мира сего, по департаменту коего и я, многогрешный, специальным чином удостоен, статут которого уже сообщил вам, по таковой при- сказке «сквозь землю» полагается зиждателем душ и тел, дающим хлеб взамен свободы духа, от которого все уже отказались, как я и говорил Христу четыреста лет назад в Севилье. Все и вся произрастают из земли, а Антихрист скрозь землю управляет всем и вся.

♦ Горька для всех нас, слуг Князя мира сего, была работа, да хлеб оказался сладок. Это я возвращаюсь к уже заданному себе самому вопросу: для чего Антихристу потребным стал опыт с обобществлением на некий срок *Вашего леса*? Это вовсе не была *error legis*... извините меня за проскакивающие в речи латинизмы — с юных лет привык говорить на языке церкви Св. Петра — словом, это вовсе не было ошибкой, обусловленной и связанной с законом Истории, движение которой суть поиск магистрального пути с постоянными отклонениями на ложные и тупиковые тропинки. Нет, конечно. У закона Истории ошибок по определению выискать невозможно!

Как и История, не ошибался Маркс, провозгласив: только всем обитаемым миром можно перейти в обобществленную действительность! Поневоле — а куда деваться! — «поправили» его Великий Тигр и Стальной Барс, раз уж История поставила в *Вашем лесу*, отдельно взятом, свой опыт обобществления. Опять же это ее, Истории, была пробная тропинка наперед еще не налаженного широкого тракта: без выверенного направления, по которому когда-то будут мчаться на перекладных фельдкурьеры, на своих парных и тройках баре, рекрутов повезут одиночными на доходягах, оброчники в пешем порядке потянутся на городской заработок, уланы и гусары в лихих усах погарцуют поэскадронно, нищий с сумой обочиной потащится туда, где хлебно подают Христа ради милостливцы... Еще не поставлены ямские подставы, не срублены придорожные трактиры и сугревные в морозные зимы кабаки, перед которыми безо всякой выучки, явно жалея своего замерзшего ямщика, останавливаются, как стреноженные, лошадки.

Вот эта-то пробная тропинка обобществления волею движетельницы мира Истории и пролегла через *Ваш лес*, каковой показался ей самым удачным для задуманного предприятия. Оно же идеей и наглядным предметом имело показать саму возможность и достоверность обобщественного проживания — для будущего всемирного творения. В то же время наглядность эта должна свидетельствовать, что грядущая всепланетная обобщественность не может осуществиться под звездой Христовой морали, как сугубо первенствующей. И даже не под знаком соревновательности в двуумирате Христос — Антихрист, как то следовало бы из диалектической науки неметчинского философского сочинителя Гегеля, на которую опирался Карла Маркс, создавая учение об обобщественном накоплении и распределении богатств.

Увы, для вас, уверовавших в Гегеля и Маркса, соревновательность эта, как я сказал Христу в Севилье, завершилась уже много-много веков назад. С тех пор и по сей- час, и далее вперед мир идет к обобщественности механической, о чем я только что говорил, не Христовой, и не Марксовой, но под знаменем Князя мира сего! В том и сущность опыта Истории над Вашим лесом, дабы в иезуитской манере — не забывайте, я емь Великий инквизитор и мне поручен был оный перевести от Марксовых эмпирей на почву 1/6 части земной суши! — что есть высшая логика, показать: обобществление есть не бесформенное чаяние, но предусмотренная Историей будущность земного бытия. Но таковое возможно только лишь для всех и вся — здесь и Марксова правота! — при этом душевная свобода изничтожается в обмен на регламентированный хлеб, равно как Христова мораль, заменяемая на более низшую, вет-

хозаветную мораль запретов. Все станут равны в грядущем человеичике, но то еди-нообразие тли. «*Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной!*»*.

Ваш же лес уже скоро исполнит predeterminedенную ему Историей горькую судь-бину, и разрушена будет его Марксова и Христова благонравная обобщественность. И пойдете вы в едином строю в диспозиции общественного человеичика. Разрушат же внешние и внутренние супостаты. Даже поначалу обезумевшие обыватели, не соображая, что имеем не жалеем, потерявши слезы льем, восторженно будут повто-рять вослед за кукловодами из моего департамента: суконце-то не издалось, или из-далось не порно.** И вы же, писари, даже без рябчиковой приманки, станете в азарте поносить вскормившую вас настоящим манерам эпоху общественного цветения! Да-же я, Великий инквизитор, в лучшие свои времена отправлявший в един день на кост-тер автодафе до сотни грешников, стану в не столь уж отдаленные времена почти что негодовать на безумство отрекающихся от идеалов и предметной содержательности ушедшей эпохи обобщественности в канонах Христовых заповедей и порой про себя повторять: бойся Вышнего, не говорит лишнего... не клеветчи на прошлое без основания на то. Истинно сказано древними мудрецами: *fragilitas humana* — непроч-на человеческая природа! Вы же суть человека в зверином звании и чинах... Как дитя малое для его будущей благовоспитанности сечь потребно умеренно, так и вас, за-бывчивых, палками надо было не забывать порой отхаживать. Палка-то нема, зато дает ума!

Вас, писарей, мне особенно жалко: в человеичике надобность наличия вашего исчезнет. И Леспис с приданными ему губернскими «писами» выполнит в скорое время установленный им Стальным Барсом и Горькоусым Моржом нравоучительный урок. Извиняюсь за преждевременные ваши похорóны. *Dixi****».

В наступившей зловещей тишине Великий инквизитор приблизился к пиршест-венному писарскому столу, налил из принесенной бутылки полный, «с мениском», граненый стакан малаги многовековой выдержки, молча, как то принято на помин-ках, выпил до донца, отрешенным взглядом старческих немигающих глаз осмотрел присутствующих и вышел в дверь — в занимающуюся к ночи белесую пургу.

Оцепенение не покидало вмиг отрезвевших писарей. Со стороны окна, в стекла ко-торого, то усиливаясь, то ослабевая, ударили заряды расходившейся пурги — а может едино в мятущихся головах? — раздался громкий, речитативный голос из Неведомого:

*К концу идет повествованье наше
О днях утех, о днях трудов.
Пускай порой наш слог суров,
Но Смерть косою над миром машет.*

*Уделу жизни есть граница,
Пусть не смущает мистика и рок,
Я жизнь отображаю, не пророк,
Рискуя в обобщеньях повториться.*

*Еще звенит последняя струна
И не написана прощальная глава,
Но явствен признак увяданья.*

* Откровение Св. Иоанна Богослова (Апокалипсис), гл. 7, ст. 16 (прим. ред.).

** То есть оказалось плохим; здесь «порно» — не из нынешнего лексикона... (прим. ред.).

*** Я сказал (лат.). Этим словом Великий инквизитор завершает в «Братьях Карамазовых» свой мо-нолог перед Христом, определяя его назавтра на костер (прим. ред.).

*Перелистни страницу, мой читатель,
А там — горчее валерьяны капель
И боль и оптимизм нелегкого прощанья.*

...Даже громогласный скандалист Степной Волк непривычным для него и окружающих срывающимся на фальцет тенорком пробормотал: «Вроде как и выпили-то с гулькин нос, а вот нас разобрало и к единому знаменателю привело...». Лев сдержанно рекомендовал не увлекаться раздумьями о слишком далеком будущем, в котором, всенесомненно, по-прежнему останется место творческой — в рамках регламента — свободе, обеспеченности и полезной самодеятельности... но запутался в назиданиях и махнул на все лапой. Сами, дескать, по возможности умственной обеспеченности своих голов разбирайтесь.

Но здесь взоры всех присутствующих пересеклись, как батарейный пушечный огонь в баталии по единой супротивной цели, на принесенной Великим инквизитором бутылки. Степной Волк подошел к ней, наклонился над горлышком, осторожно вдохнул хищно и вождельно расширившимися ноздрями. Чуток подумал и налил четверть стакана, пригубил, почмокал гурмански губами и допил малый остаток. Затем наполнил уже целиковый граненый, ввел в три глотка в утробу организма, закурил маринованным пупырчатым огурчиком. «Налегай, ребята!» — и разлил уже по всем питьевым посудинам.

...Ко времени, когда немалой емкости, где-то между четвертью и полуведром, бутылка сервантесовской малаги показала свое донце, зашумевшие и порозовевшие личиками писари и вовсе забыли о мрачном визитере к ночи. Лев таки успел закончить свои соображения о преимуществе трехчастного построения романтических сочинений. С оными все дружелюбно выразили согласие и начали собираться: в гостях, мол, хорошо, да время позднее, дома жены и детушки заждались. Облачились в шубы и зимние полукафтаны, перепоясались, нахлобучили на головы поярковые шапки, натянули на лапы меховые рукавицы и вышли на метель, в коей и рассеялись: кому куда брести по наметенным сугробам.

♦ Скучно и грустно черкать гусиным пером, переводя дести бумаги на унылые годы, растянувшиеся на два десятилетия с лишком, повествуя о все более впадающем в ничтожество житье писарей, предвещенном тем далеким вьюжным вечером Великим инквизитором. Обобщественность в *Нашем лесу* единым напором внешних и внутренних супостатов заменилась лихоимным частнособственничеством, апологеты которого радикально отрезвили лесного обывателя, попутно поголовно ослобонив оных от ненужных теперь излишних чувствований, мыслей и совести. Радовались пришествию новых времен только торговцы... в числе прочего и названной совестью. *Гостинодворцы китайский товар раскладывали и ожидали оживления промышленности.**

Поначалу все радовались в ожидании реформ, дескать, наконец-то насытимся «шекснинской стерлядью золотой!» Насупротив, в лихоимные «девяностые» еды прежней, привольной, и вовсе не стало. Рябчики тискались уже на миллионных бумажках. Наконец и вождельные реформы пришли, началось окончательное разоренье. А ведь предупреждали, у которых мозги в головах еще не выветрились: вот уж, придут реформы, узнаете, как кузькину мать (она же теща) зовут! Потом окладные листы на налоги все длиннее и длиннее начали становиться. «Нельзя по нынешнему времени не воровать!» — твердил ополоумевший обыватель, — другие, мол, миллиарды

* Да устыдится тот, кто плохо об этом подумает.— Что-то вроде этого взято девизом одной из высших наград Британии ордена Подвязки... И автора не упрекайте в нигилизме: это аутентичный текст из «Сказок» Салтыкова-Щедрина (прим. ред.).

крадут, и все им как с гуся вода, так неужто и нам рябчик-другой не стащить...». Потребовалось лесному обывателю новое, диковинное, ранее неизведанное — так все из чужестранных лесов и прерий навалом за светильных газ и горюч-камень с керосином начали привозить. Ну-у, это у всех на слуху, нечего гусиные перья и дорогие нынче железисто-галлусовые чернила переводить...

Но как же писари вообще и наши тудуповцы в особливости? — Да так, что все сбылось, как Великий инквизитор предвещал. Нет теперь в них потребности: лесной обыватель книги читать разучился напрочь, а слово «гонорарий» самими писарями давно и напрочь забыто.

У Лесписа все его имущество лихие людишки пограбили, да и объявилось этих «писов» неимоверное число. Тулупис же совсем в ничтожество впал — почти что одно наименование в памяти редких числом обывателей еще пока держится. По привычке и свойству пожилых людей: хорошо помнить все далекое от текущего дня. Отобрали у Тулуписа уютный, еще при Царе Горохе сооруженный, особнячок с каминным залом, переселили в комнатенку списанного на снос барака.



*Философический доцент Енукидзе в начале 90-х годов, когда в университете грошовую зарплату выплачивали неаккуратно, по наущению супруги приторговывал пирожками вразнос, отрастив для неузнаваемости знакомыми бороду и стараясь стоять в местах подальше от *alta mater*. Вкусные пирожки с квашеной капустой и картошкой со шкварками пекла искусница Нина-ханум, а сам доцент имел мужественный вид горца и зычный голос. Торговля шла хорошо. Поначалу все свое внимание он сосредоточивал на работе: боялся передать сдачу, внимательно выслушивал покупателей... Но скоро эту профессию освоил, все делал машинально. Появилось время для высоких мыслей. Думал он: все философии досужие немцы изобрели, но все ли? Вот встретил он как-то на научном симпозиуме профессора Ореховского из Новосибирска — так тот создает философию ответственности. А вот он, Енукидзе, займется философией личной жизни человека. Полгода торговли разрабатывал ее, а уложился она в три тезиса: во-первых, следует довольствоваться малым, но стараться сделать жизнь комфортнее, однако не ставить это целью самой жизни; во-вторых, нужно «выбиваться в люди», но не расталкивая никого плечами; наконец, желательно всегда любить женщин — конкретно и полигамно, но никогда не слушать их якобы мудрых советов.*

...Стоит коломенской верстой Енукидзе на площади между проходными двух заводов, славой бывшего советского военно-промышленного комплекса и зычно рокошет: «Граждане-товарищи! Кушайте пирожки с капустой и картошкой! Ведь на этих овощах тысячу лет Россия стояла и крепла. И вы выстоите в свалившейся на вас напасти!»

О Скрижалях даже в горячечных снах не помышляют тулуписовцы. Давно никто не слушал курса Высшего писарского училища. Постепенно уходили из этого наилучшего из миров прежние писари. На их место приходили новые, слабо знающие грамоте и полагающие какое-либо совершенствование в сочинительстве излишним... раз за оное рябчики теперь не дают. Словом, к нынешним временам в Тулуписе возобладали уровни прежних фабрично-заводских стенгазетчиков. Писарское же обилечение потребно стало ныне только для титулования на вошедших в модный обиход визиточных карточках. Мало-помалу табельный лист Тулуписа заполнился прозвищами, вовсе неизвестными теми редкими обывателями, что еще по старинке читали книги. Все более появлялось обилеченных дородных зайчих в возрасте. Детушек своих они уже воспитали, а внучат им не всегда доверяли — по некоторой рассеянности характеров и склонности к посещению всевозможных общественных ассамблей. Научившись в наступившем свободном времяпрепровождении неловко рифмовать навроде «розы — морозы», оные осанистые пожилые дамы объявили свои парсуны поэтами и оформили эти утверждения писарскими билетами. Благо обилечиться стало до стыдливой неловкости просто. Бессменный на должности главы Тулуписа Лев благодушествовал и всю канцелярию поручил своему заместителю, по чину Ослу. Был тот по возрасту отчислен майором по интендантству, научился, опять же неловко, складывать рифмы, объявил себя эпическим пиитом. Но даже в либеральные и разболтанные лихоимные «девяностые» и в последующие годы, когда поименование писаря сделалось ругательным среди лесных обывателей, он только с третьего раза сумел пробаллотироваться в члены. Узрев недожинные интендантские дарования новообилеченного, дряхлеющий Лев и сосватал одного майора на должность Осла, как ответственного за все тулуписовские докуки, в числе которых и обилечение неопитов. В основном рифмователей, ибо для писания прозаических сочинений потребно много времени, пуков гусиных перьев и дестей писчей бумаги. В новом, частнособственническом *Нашем лесу* все это стоило немалых рябчиков.

Новоиспеченный же Осел и учредил при благодушном попустительстве Льва указанную простоту, обложив желающих обилечиться окладным листом в рябчиковом тарифе за вступление в чин писаря: Льву и себе на оклад содержания. «Визиточники» и воспитавшие деток «поэтессы» нестройными рядами потянулись в Тулупис. Всех брали по тарифу, за всех Осел перед Львом предстательствовал. Даже целыми коллектами вошедший в раж Осел начал обилечивать. Допустим, вспомнил как-то на досуге ставший в одночасье обладателем фабрик, заводов, курантов и прочего из бывшего обобществленного богатства Беркут по орнитологическому роду, что в III классе гимназии учитель изящной словесности раз похвалил его почерк в сочинении на заданную тему «Великий Тигр — рулевой обобществления», и возмечтал украсить свою визиточную карточку титулом писаря — как память о пионерском безмятежном отрочестве. Вспомнил и прибыл из своей районной чащобы в Тулупис. А для компанейства и деловых руководств по пути захватил собинного своего заместителя и длинноногую Лисичку-секретаршу. Выложил Беркут на стол Осла обандероленную пачку рябчиков — явно сверх тарифа. Осел же, слюнявя копыта, пересчитал рябчики — как раз на троих по окладу приходится — и всех прибывших из чащобы тотчас обилечили! Много еще каких живописных сцен в Тулуписе в эпоху Осла наблюдалось... Все таковые описывать — дестей бумаги не хватит.

Старого закала писари, еще помнившие внутренние и внешние сущности писчебумажного искусства, продолжали и без рябчиков, как раз навсегда втянувшиеся в оное дело, сочинительство. Один усердный Дятел все пробовал «Всеобщую историю Тулуповского леса» довести до наших дней. Но вот неудача! Только он *point sur les "i"* в своем сочинении свершит, описав подвиги нынешнего губернатора, как того на

съезжую и далее в узилище за взятки, либо по сомнительному рескрипту «по собственному желанию» отчислят по партикулярному реестру. Не везло Тулуповскому лесу с воеводами-губернаторами в наступившую частнособственническую эру. Кто-то с головой ушел в мемуары о былых сражениях.

В лихоимные «девяностые» некоторые ударились в сочинительство историко-порнографических опусов... Много чем еще от безделья, давней привычки и отсутствия рябчиков прежних лет фабрикация тулуповские писари отвлекались от наступивших суровых частнособственнических будней. Но пришел новый век, власть застрожала год от году. Хотя бы на низведенных в полное ничтожество писарей даже местные чиновники внимания никакого не обращали, но которые старой закалки по памяти, а новобранцы-стенгазетчики, особливо воспитавшие детушек поэтессы, нутряным опасливым чувствованием сообразили, что о современном состоянии общественных предметов лучше промолчать. Сочинять же о столь давних делах Истории, никаких писчебумажных свидетельств о коих не осталось. Поэтизировать же о «розах — морозах». Опять всплыло старинное правило: выше коллежского асессора чинов не трогать! Даже говоря о более ближней Истории, к примеру о Тулуповске XVI века, на которую тогда орда татарская посягала, наименование этой дружественной национальности заменять монголами! Все это легкие на подъем писари стенгазетного «призыва» воспринимали чуткими ушами — причем не только те, у кого уши выше лба растут.

...В конце концов деяния Осла от интендантства и попустительство одряхлевшего Льва вызвали возмущение еще имевшихся в наличии писарей старого закала. Совсем недавно обоих отрешили от чинов. Они ушли скандально. Может по сей причине в чиновных кругах по линии культуртрегерства смутно вспомнили о наличии в губернии писарей и назначили Львом Тулуписа доверенное и проверенное лицо.

Новый Лев природным своим многозначительным размышлением прикинул: писарство в Тулуповске, равно как и во всем частнособственническом *Нашем лесу*, сведено к полному ничтожеству, выродилось в артефакт Истории. Впрочем, как и во всем мире, где читать разучились и не видели проку в каком-либо поощрении вольнолюбивого — и даже *датского!* — сочинительства. К тому же имел Лев другие многообразные обязанности в чиновных кругах. Потому поступил архимудро, начав с самой процедуры приема его в писари: после единогласного голосования выставил щедро сивухи и жареных поросят, а сам, непьющий, три часа плясал впрыскаду с выходом и коленцами, играя на гармонии и распевая частушки.

Первым делом, хорошо усвоив административную грацию, он всех писарей поразили несказанно бурной деятельностью личного почина. Казенным коштом, используя разнообразие приятельств в административных кругах, заказал для нужд Тулуписа на Полотняном заводе бояр Гончаровых, что в соседней губернии, тысячу аршин тонкого выбеленного холста. Порезав оный на столбцы в сажень высотой, энергетический по натуре Лев, обладавший природным даром рифмования (бабка его известной знахаркой была), начертал на них железисто-галлусовыми чернилами вершковской величины буквицами свои стихосложения, одновременно душеполезные и благонамеренные. Объявив себя родоначальником нового писчебумажного искусства с поименованием «выставки стихов», Лев развесил столбцы с нравоучительным содержанием по всем урочищам и чащобам Тулуповского леса, а в губернском городе — на парадных входах присутственных мест, включая съезжую и узилище, а также в актовых залах городских университетов. Здесь следует заметить, что с заменой обобщественности на частнособственность в *Нашем лесу* все училища, присовокупно и двухклассные церковно-приходские, возвели себя в ранг университетов.

Поскольку же чистые холстяные столбцы еще оставались в наличии, то Лев сыскал толмачей, что переложили его творения на неведомые лесным обитателям (те-

перь заново *обывателям...*) диалекты, в коих буквицы пишутся как в зеркале: справа налево. На одном таком языке буквы напоминали следы птичьих лап на свежеспавшем снегу, на другом же литеры горбились как кошки перед собаками. Эти столбцы Лев попутным аэропланом отослал в назидание умиротворения в левантийскую пустыню, что обочь Святой Земли, где проистекали междуусобные баталии, злодейски поощряемые правителями Заокеанских прерий. Со столбцами летал сам Лев, за что был отмечен воинской медалью.

Еще он поразил оробевших от столь бурной деятельности скромных тулуповских писарей написанием рифмованных поздравлений всем вновь заступающим или повторно утверждаемым чужеземным правителям, в том числе Заокеанских прерий и Блистательной Порты.

Поразив же воображение писарей, Лев возвратился к своим многообразным занятиям в губернской администрации, поручив сеять разумное, доброе, вечное в воображениях членов Тулуписа, окончательно поделившихся на «визиточников» и зайчих, воспитавших уже детушек, ново назначенному Ослу, многоопытному и душепроницательному, и правлению. Однако же им недосуг было что-либо сеять на ниве «визиточников» и зайчих. Правленцев увлекло более полезное занятие: вытребывать — через благожелательное посредничество Льва — с культуртрегерского департамента губернской канцелярии различные грамоты и медали местного штампования, далее распределяя оные промеж себя. Особо ценилась та из них, что давала прибавку к пенсии в полтора рябчика (в живом весе — по орнитологии), но главное — похороны почившего обладателя медали в четвертом почетном ряду от главной тропинки местного погоста.

...Шло вроде как застывшее в серых буднях время. О писарях в Тулуповском лесу и вовсе забыли. И барак с бывшей резиденцией Тулуписа снесли — освобождали место для построения радением и капиталами первогильдейного купца Тофика самой большой в городе, сорокадвухэтажной лавки галантерейного и пищеварительного товару.

Быстро История стирает память о делах и событиях, не попавших на ее Скрижали. Тож и память о некогда бодрой действительности тулуповских писарей. И не вина их, предбывших, бывших и нынешних немногих, в таком забвении. Разбаловавшись всеобщим пиететам в эпоху обобществления, не смогли они встроиться в частнособственничество. Да и во всем мире сей час деяниями Великого инквизитора, переназванного Великим глобализатором, надобность в писарях отпала: место слова заняла цифирь.

...Еже писах, писах. И вослед Великому инквизитору из романа Достоевского в окончании настоящей летописи скажем: *dixi*».

♦ Спустя полгода после передачи профессором Скородумовым писателю Бурцеву стилизованной под манеру письма Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина летописной истории тулуповской писательской музы они опять-таки случайно (случай по диалектике Гегеля есть объективация субъективного) встретились у входа в гостеприимную рюмочную «Наливай-ка!». Понятно дело, зашли и дружески засиделись на пару часиков.

— Ну как, Андрей Матвеевич, опубликовал свое творение?

— Да-а, напечатал в своей «Срединной России» в двух номерах, так сказать, с продолжением. И даже отдельной книжкой издал к грядущему юбилею нашей областной писательской организации...

— А чего ж изволите, достопочтенный, с этакой кислинкой в голосе о своем писательском успехе сообщать?

— Нет никакого успеха. Не в коня корм, как оказалось. Как в добром *нашем чапавском анекдоте*.

— Во-во, порадуй душу ностальгией!

— Кому ностальгия, а большинству — реальная жизнь. Значит, Петька интересуется у Чапаева: «Дескать, вчера Фурманов все горячился перед бойцами на политзанятиях насчет светлого будущего. А ты, Василь Иванович, как его себе видишь?» — «Хорошо, Петька, вижу. Вот разобьем беляков, консерваториев всюду понастроим. Будем самогон консервами закусывать!»

— Понятно... хотя нет, ничего не понятно! Ведь в повествовании у тебя получилась, вопреки первоначальной задумке, вовсе не едкая щедринская сатира, но несколько грустное философствование, скорее сочувствие к современным избранникам муз, что выпало им жить в эпоху жестокой глобализации, разрушения СССР, перехода от социально ориентированного сообщества к самой дикой форме, *homo homine lupus est*, частнособственничества, накопительства и потребления. Я разве не прав?

— Прав, дражайший Игорь Васильевич, семижды семи прав. Поверишь ли? — На довольно общие и лично безотносительные аллегории навроде «стенгазетчиков», «визиточников» и «зайчих» никто и не думал дуться. Даже посмеялись дружелюбно. Обиделись, совсем для меня неожиданно, на другое: не нашли, каждый себя отдельно, в аллегориях этих. Хотя бы и обидных для самолюбия.

— Что ж ты хочешь, друг мой письменник, сознание людей нынешних «перезагружено», как принято в высоких политкругах выражаться, на рекламное мышление. А лучшая реклама — негатив! Допустим, не нашел он себя в твоих звериных и орнитологических аллегориях, но разве просто повесть о собратях по перу не интересно почитать? Всего-то под сотню страниц, как помнится, не «Война и мир» ведь?

— Ну ты, друг мой профессор, меня удивляешь! Кто же сейчас книжки, даже в сотню страниц, читает? В лучшем случае их *перелистывают* или *листают*. Опять же в дуду рекламе: красотка, в полупорно приодетая, лежит бочком на диванчике. В руке глянцевого журнала, в другой смартфон или какой-другой «фон». И вслух размышляет: «Чем бы заняться? Дэну позвонить или журнальчик *полистать*?»

Писатели же, уж позволь мне их прежним титулом именовать, и вовсе чужие, в смысле не свои, книги не раскрывают. Не потому что, как тот «чукча не читатель, чукча — писатель» из старого анекдота, круглые сутки заняты собственным сочинительством; нет, в них сейчас от писательства только членский билет. Чем-то они заняты... каждый своим. Писать, тем более читать, им недосуг. Я расскажу про предпринятый мною эксперимент, опыт по-русски, по проверке: читают — не читают, но прежде о реакции на «щедринскую» повесть и обиды за упоминание.

Наш журнал курирует сразу три литературных альманаха, что издаются под эгидой «Срединной России» — как всероссийского. Редакторы их отмечают выход новых выпусков собранием литобщественности. И меня туда приглашают в качестве «патронирующего шефа». Обычно в такие места приходят дородные «поэтессы» — зайчихи, воспитавшие детушек, как у *меня* в повествовании — пообщаться друг с другом от домашней скукоты и назойливых приставаний неразумных еще внучат... На одни такие посиделки я принес стопку свежеизданного «Кастальского ключа» — еще без сегодняшнего нашего разговора, который *во втором издании* вставлю в качестве концовки. Положил в центре читального зала библиотеки, в которой обычно проводятся подобные «встречи авторов с читателями», в угол стола председательствующего: мол, налетай, подешевело! В смысле, окажите честь, задарма возьмите, детишкам и внукам вместо сказок-страшилок на ночь почитаете...

Поскольку у меня репутация изгоя, это как Северная Корея, Иран и временами Россия для империалистов Запада, но только для правленцев тулуповской ячейки Лесписа, поэтому эти самые дородные как-то с опаской, с оглядкой друг на дружку (не выдай в случае чего, милая!), привставая со стульев, начали книжки разбирать. Тем более — каюсь, емь книжный эстет! — добротнo и со вкусом изданные: удоб-

ного формата, сами в руки, а потом в дамские сумочки и пиджачные карманы мужской половины просятся.

Увы... сам себя выпорол, как достопамятная унтер-офицерская вдова: в самом начале собрания, похвалив альманах, именинник сегодняшнего дня, несколько слов (вот она, неумолчная гордынь сочинительская!) сказал и о своей книжке: дескать, получилось нечто философски-трагическое, хотя задумка вначале имела на примере нашей областной писательской... И так далее. Это-то и погубило мою повестушку в глазах собравшихся. Все взявшие экземпляры книжки начали, невежливо пропуская мимо ушей многоречивые рассуждения авторов альманаха, спешно *листать* — отыскивать свою аллегория, но вместо таковой находили только обобщающих «зайчих», а мужская половина сидельцев в зале — «обилеченных» и «визиточников». Мужики, впрочем, книжку рассеянно клали в пиджачный карман... может на случай войны: тогда-то думцы отменят табачные утеснения; будет из чего махорочные самокрутки вертеть! Но которые дородные, воспитавшие и так далее, не найдя своего *alter Ego**, обиженно поджимали губки и, все так же привставая со стульев, клали книжку в прежнюю их стопу...

— Чего-то, Матвеич, увлекся ты дополнительной ко второму изданию главкой! Так и вовсе повесть в целиковый роман переоплотишь. А где обещанный эксперимент, что есть опыт по-русски?

— Вот сейчас и про опыт. Сам по себе, Васильич, как мой собрат-коллега по изданию собственных книг — о журналах наших уже молчу, — знаешь: какой кровью и прочими затратами стоит издать хотя бы сотню экземпляров даже небольшой по объему книжки в демократическом мягком переплете? Потому и стараешься отдавать в руки тому, кто хотя бы *полистает* ее... надежды же на серьезного и вдумчивого читателя давно исчерпаны. Издашь новую книгу — и даришь с таким вот расчетом только что на *листающих*... И то сердце сочинительное не то что греет, а условно теплит — как вместо горячей «лампочки Ильича», упорно все запрещаемой думцами, китайской фабрикацией неоновый или диодный светильник.

Со временем подметил: коллеги-прозаики, хотя бы один из четырех-пяти, все же *пролистывают*, но которые ямбы с хорями слагают в возвышенные часы творчества — и вовсе не раскрывают. Хотя убеждают в обратном: хорошо, мол, брат Бурцев, сочинил! С интересом читал... и так далее. Пробую навести на сюжет и фабулу, чтобы проверить истинность их похвалы, так сразу убегают под благовидным предлогом: дескать, извини, дорогой коллега, рифма удачная в голову ударила, надо срочно, пока не улетучилась, записать!

Голь на выдумку хитра. Начал в сочиняемые повести и романы вроде как по делу вставлять в текстовку, а то и вовсе в качестве эпиграфов к главам, строки и строфы из местных поэтов. Чье вставил — тому и отпечатанную книжку вручаю, ни полслова не говоря о цитировании... Через месяц-другой при встрече навожу на подаренную книгу. Чистейшими и яснейшими глазами впившись в мои гляделки (психологи говорят: если при разговоре собеседник смотрит на тебя в упор — значит стопроцентно врет), поэтический коллега утверждает: два раза от корки до корки прочел! И супруга с интересом прочитала. Конечно, ни четверти слова, даже осьмушки, про свое присутствие на страницах «дважды прочитанного». Перестал я поэтам понапрасну свои книги раздавать. Да и всем остальным «обилеченным» из тулуповских то же самое.

◆ — Итак, Матвеич, начал ты сочинять, как ранее рассказывал, что-то навряде сатирического рассказа в духе Михаила Евграфовича о нынешнем ничтожестве местного писательства, а получилась целиковая повесть с философским уклоном. Главное, правильную линию вывел в этой части. Не получилось как у юмориста в жизни Вольтера...

* Второе «Я» (лат.) — прим. ред.

— Это как... Вольтера?

— А как-то умничающая дама его попросила объяснить сам предмет философии. Он же ответил в том смысле, что когда слушающий не понимает, о чем ему толкует говорящий, а последний толком не знает, о чем он ведет речь, то это и есть философия.

— Мд-д-а. Убедительно. У меня сосед по лестничной площадке актер нашего драмтеатра. Прошлым летом по обмену на гастролях в Челябинске был. А там и опера имеется. Пошел для интереса на «Риголетто» — и зарекся вообще кроме как своей сцены ничего не видеть. Оказывается, тамошний режиссер — модернист, то есть провинциальный холуй западнического педермотства, но и отечественный квасной патриот в одном флаконе, для привлечения публики всем персонажам «Риголетто» придал футбольную наружность и имена...

— Это ты к чему, Матвейч, про оперу-то? В толк не возьму.

— Чего здесь толковать. Что оперы в футбольной униформе, что современная ущербная «литература»... Все это есть намеренная и направленная кем надо, тем же Великим инквизитором с новым именем Великого глобализатора, утрата в искусстве, уже не высоком творческой, профессионализма. Где заканчивается профессия, отсюда уходит мастерство, ибо оно требует неустанного учения — длинную во всю жизнь.

— Я тебя, дорогой мой письменник, понял. Пресловутое новаторство, новые формы и прочие благоглупости, в опере ли, в художественной литературе, якобы востребованные новым временем, новыми людьми, в наше время уже не есть просто изменение формы. Это нечто более губительное для всех искусств и творчеств. Коль скоро в повести своей ты упомянул нашего великого философа-свободолюбца Бердяева, то и поясню свое утверждение ссылкой на его слова. Примерно так, говорю по памяти: в осознанной человеческой деятельности задача в том, чтобы не допустить *перехода изменения в измену*, чтобы в любом изменении личность оставалась самодостаточно мыслящей. Но когда мы встречаем факт такого перехода, то становимся свидетелями самого тягостного явления человеческой жизни — разочарования в конкретном человеке, но что еще страшнее — разочарования в людях вообще. Как-то в этом смысле сказал уважаемый мною Николай Александрович, хотя бы он и старался представлять себя сугубым персоналистом и почти что умственным анархистом...

Как раз сейчас мы и наблюдаем переход изменения в измену: человек изменяет своей природе и данному природой высокому предназначению и превращается в безымянный винтик глобального человеконика. Человекнику же писатели не нужны. Ты все верно в своей повести обозначил и расставил по местам. Главное, без обиды для наших тулуповских... если кто из них все же осилит чтение сотни страниц. Разливаю? <Выпили — закусили>.

— ...Будем, Матвеевич, все одно оптимистами. Почаще будем якобы забывать о всяких там мрачных фатализах и эсхатологиях. Хотя бы достаточно скоро сотрется во владениях Великого глобализатора не только память о писателях. Судя по сегодняшним устремлениям Запада, избравшего вновь для эксперимента Россию, уйдет из истории, что-де когда-то была страна Россия. Впрочем, и истории тогда уже не будет. Чего-то сказать имеешь?

— Да припомнил. Один человек досужий, потому много чего из сорной мелочовки в голове держащий, рассказывал по радио, а может и по «ящику»? — не помню точно. Словом, в Греции, в исторических местах в Пиэрии, на Геликоне и в Дельфах, где в античные времена располагались источники Иппокрена и Кастальский ключ, вблизи которых музы вдохновляли эпических поэтов, для привлечения туристов решили построить новодел — копию Кастальского ключа. Поскольку же соседние горы обезлесили, то ручьи и иные источники пересохли. Чем запитать новодел? — А просто подключили его к водопроводной сети соседнего городка.

Кастальский ключ из водопровода.



Горнило вдохновения, он же Кастальский ключ, она же Болдинская осень, он же громокипящий кубок от ветреной Фебы... Какие это заветные символы для людей творчества? И сопутствующие им состояния творящей души присущи истинным гениям и большим талантам. Но, увы, высокая трагедия выражается в пошлый водевиль, когда горнило вдохновения начинают штурмовать люди, хотя и добрых намерений, но обделенные даром самовыражения. Это, конечно, не их вина, — природа слепо раскидала кувшин этих серебряных монет, то есть талантов: кому досталось, а большинству и нет. Но насиловать эту природу — уже грех; не дано — успокойся и займись ремеслом попроще, главное, чтобы оно пользу приносило. А провозглашать себя гением, имея за душой только знание правил стихосложения, кипу писчей бумаги «Сору» и поддельный, китайский «паркер» — по меньшей мере безрассудно, вредно для окружающих, убыточно для семейного бюджета, опасно для здоровья, особенно психического. Тихий графоман вызывает жалость, часто — дружескую. Но буйный маратель бумаги такие дела творит, что его начинают всерьез опасаться. Их нападкам более всего подвержены самые робкие из редакторов — заводских многотиражек и нанятые на сроки выборов второстепенными политическими партиями. Еще буйные графоманы уважают водочку под селедочку на презентациях чужих книг, а боятся только собственных жен.

